

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

# САБЛЯ КНЯЗЯ ПОЖАРСКОГО



Даля Трускиновская  
**Сабля князя Пожарского**

«Автор»

2021

## **Трускиновская Д. М.**

Сабля князя Пожарского / Д. М. Трускиновская — «Автор»,  
2021

В 1612 году, когда русское ополчение выгнало захватчиков-поляков из Кремля, благодарные москвичи подарили князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому саблю, украшенную самоцветами. Прошло двенадцать лет. Царь поставил князя руководить Разбойным приказом. Это значило — уничтожить шайки налетчиков, которые грабили идущие к Москве обозы. Кто эти налетчики? Литвины, пришедшие в Россию во время Смуты, и казаки, служившие Лжедмитрию, которым нужно, чтобы в государстве были разброд и шатание. Пожарский знает, что в Разбойном приказе есть предатели, снабжающие разбойничьих атаманов сведениями. Значит, для борьбы с ватагами налетчиков нужны люди, не связанные с приказом. Его верный друг Чекмай таких людей находит. Это давний боевой товарищ Мамлей Ластуха, выгнанный из стрелецкого полка Павлик Бусурман и бывший подьячий Земского приказа Ермачко Смирной. Но атаманы налетчиков хотят показать князю, что справиться с ними невозможно. И вот из княжьих хором загадочным образом исчезает драгоценная сабля... О том, как Чекмай помогал разоблачить интригу английских купцов в 1612 году, читайте в романе «Вологодские заговорщики». Многие персонажи этого романа появятся на страницах «Сабли князя Пожарского». Будет все — верность и измена, ошибки и загадки, любовь и месть.

© Трускиновская Д. М., 2021

© Автор, 2021

## Содержание

Пролог	5
Глава первая	11
Глава вторая	19
Глава третья	25
Глава четвертая	34
Глава пятая	40
Глава шестая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Далия Трускиновская

## Сабля князя Пожарского

### Пролог

Что осталось от хором князя Пожарского на Лубянке после Смуты? Да мало что осталось – как и от всей деревянной Москвы. Сохранились от богатых палат каменные подвалы, сохранился один из теремов, хотя не полностью. Чем чинить да латать все прочее – проще было строить заново. Князь с княгиней этим и занимались, насколько возможно. И более – княгиня Прасковья Варфоломеевна, потому что супруг постоянно был занят на государевой службе в Новгороде и подолгу отлучался из Москвы.

Да и не только служба держала его вдали от Москвы. В семидесяти верстах от Новгорода были его владения – богатое село Пурех и прочие земли. Следовало обустроить «Пурехскую отчину». В селе князь построил Спасо-Преображенский храм и монастырь во имя святого Макария Желтоводского. В храм князь отдал на хранение боевой стяг нижегородского ополчения, там же пребывал образ Владимирской Богоматери, сопровождавший его в военных походах.

В делах строительства княгиня мало разумела, но князь оставил ей своего ближнего человека, на которого она во всем полагалась. Этот человек держал в строгости дворню, сам нанимал мастеров, сам тратил деньги князя, как считал нужным.

Одну из уцелевших после пожара горниц княжских московских хором, приведенную в порядок, где еще пахло свежей стружкой, сразу отвели под крестовую палату. Раны, полученные на войне, порой сильно беспокоили князя, и выстаивать долгие церковные службы ему было затруднительно. Его утреннее и вечернее молитвенное правило было довольно коротким.

Как раз в крестовой Дмитрий Михайлович и находился с младшим сыном и ближними людьми, когда за ним прислали из Кремля. Старшие, Петр и Федор, уже служили государю Михаилу Федоровичу и недавно были пожалованы хорошим для юношей чином – стали рындами.

– Передай – тотчас же буду, – сказал князь гонцу, молодому и бойкому стольнику. Их при дворе набралось уже под две сотни, не каждый удостоивался особого поручения. И всех князю, понятное дело, не упомнить. Спрашивать, кто таков, князь не стал – незачем. Вроде бы – Вольнских...

Стольник поклонился и ушел.

– А кушанье, поди, уже подано, – напомнил ближний человек, рослый и крепкий детина, темноглазый и чернобровый, с неожиданно тонкими чертами лица: борода и усы у него были чернее смолы, как у молодого, а вот голова круто поседела. – А я пойду распоряжусь насчет возка.

– Так, – одобрил князь, улыбнувшись старому боевому товарищу.

Он, взяв сына Ивана, пошел в столовую палату, к жене и дочкам. А крепкий детина прямо из крестовой, даже шапки не надев, вышел на гульбище, которое еще не было достроено, вместо нарядного крыльца там, где быть тому крыльцу, – прислоненная к стене лестница.

Не придерживаясь руками, детина ловко спустился по ней – и был замечен дворовыми князя.

– Ахти, батюшки, Чекмай идет! – зазвенел бабий голосок.

Этого человека побаивались.

Еще в пору войны, водя отряд лазутчиков в поиск, Чекмай обнаружил, что научился ловко управляться с людьми – умеет заставить их себе повиноваться. До того, выполняя особые

поручения князя, он этого в себе не замечал. Но обстоятельства потребовали – и дар Божий оказал себя. Более того – Чекмаю даже понравилось быть главным. Князь это заметил и как-то сказал:

– Годы у нас с тобой немолодые, мы набегались и навоевались, пора тебе осесть на одном месте и уgomониться. Мои люди тебя знают, да и ты их знаешь. Словом, принимай бразды правления.

Князь Пожарский, поставленный воеводой в Новгороде, вынужден был проводить там немало времени, оставить за себя в московских владениях давнего товарища было решением здравым. Никакого чина Чекмаю он не давал – да и не ключником же было его назначать. Ключника меньше бы боялись, ключник – он вроде как свой и обычно подворовывает, потому ни с кем ссориться не станет. А этот ведет себя так, словно родной брат князя, хотя на деле всего лишь молочный.

– Климка, Миколка, сыщите мне Пафнутьича! – крикнул Чекмай. – Где он там запропал? Истреблю! Пусть закладывает вороного в возок, князю в Верх ехать! Подавать к главному крыльцу! Да полсть пусть ту берет, что я из Вологды привез!

Это была отличная медвежья полсть – огромная, чтобы не только лишь кончики сапог прикрыть, а по самую грудь седока. Кремль недалеко – да ведь здоровье у Дмитрия Михайловича не железное, зимой болел. А весна – так и вовсе дело гнилое... Посмотришь на двор – вздохнешь: снег вовремя не вывезли, слякоть чуть не по колено.

Конюшня, переделанная из небольшого амбара, была невелика – на две лошадки. Поблизости уже ставили новую – хорошую, теплую, предназначенную для дорогих аргамаков. Чекмай, стараясь не замочить ноги и выписывая по двору кренделя, пошел туда – чтобы вовремя поймать за руку старого Пафнутьича. Тот имел свое понятие о княжьем выезде и норовил навешать на конскую сбрую лисьих хвостов. Ладно бы возок был новенький и красивый! Но возок, уцелевший в передрягах Смуты, выглядел так, словно на нем черти из леса дрова возили. Лисьи хвосты при нем – курам на смех. Будет, конечно, приобретен новый, но не сейчас – сейчас все деньги идут на восстановление двора, и Чекмай мог с точностью до полушки сказать, что и почем куплено.

Была в хозяйстве и каптана – не слишком большая, возить княгиню с дочками и ближними женщинами. Каптана – она для женского пола, мужчине в такой разезжать даже как-то непристойно. Зимой ее использовали, а весной – опасно. Дом на полозьях немало весит. Увязнет в слякоти – будет с ней мороки...

Кучером Чекмай велел сесть Климке. У парня почти новый шубный кафтан, хорошие сапоги, на колпаке – красивая запона, что придерживает меховой отворот. Вид, словом, достойный. Ехать недалеко, да ведь вся Москва увидит...

Старый дом, приведенный в божеский вид первым, с новенькими пристройками, где жил с семьей и ближними людьми князь, стоял ближе к Ивановскому переулку, туда же выходили ворота двора. Чекмай убедился, что князя благополучно усадили в возок, и пошел на поварню – наводить порядок. Прасковья Варфоломеевна, конечно, хозяйка отменная, так ведь она поварю по шее не даст и кухонной бабе, что грязь развела, оплеуху не отвесит. К тому же, поварню, как только потеплело, устроили во дворе, под навесом – во избежание пожара, и не пойдет же княгиня-матушка по грязи ругать стряпух.

Чекмай знал, что челядь его побаивается, и пользовался этим. Он уже много лет состоял при князе, пользовался неограниченным доверием – как-никак, вместе выросли. И чего только не приходилось делать... Расскажешь кому – не поверят!

Поверят разве что давние друзья – иконописец Глеб и чудаковатый человек Митя, отменный резчик по дереву, вместе с которыми Чекмай воевал и ляхов прочь гнал. Сейчас-то оба – в Оружейной палате, там им трудов хватает – кремлевские церкви возрождаются, нужно им изрядное убранство, нужны образа. Чекмай подумал – а ведь давно не встречались, за одним

столом давно не сидели. И тут же сообразил, где может быть этот самый стол – в том здании, что возводилось на княжьем дворе ближе к Лубянке. Здание еще осенью подвели под крышу, в холода там ничего не делали, а теперь плотники всю работу пилами и топорами. Когда слякоть сойдет, можно будет собрать друзей в горнице, а все, что потребно, принесут с поварни...

Был еще один человек, которого Чекмай хотел бы видеть за столом, – его воспитанник Гаврила. Гаврилу он лет двенадцать назад в Вологде спас от смерти, вытянул из проруби, парнишка к нему привязался, да и он к парнишке также – своей семьи Чекмай не завел. Воспитанника он держал при себе и в Ополчении.

Сейчас Гаврила был отправлен в Вологду с поручениями, а заодно – навестить деда, старого подьячего Ивана Андреевича Деревнина, который в пору Смуты там поселился. И Чекмай уже начал беспокоиться – дорога до сих пор оставалась опасной, шайки лесных налетчиков устраивали засады в те дни, когда не совершали налет на чью-то уцелевшую в пору Смуты усадьбу. При Гавриле было трое княжских дворовых, надежных молодцов, велено было также воспитаннику не самому по лесным дорогам путешествовать, а прибиться к купеческому обозу. Однако уж больно он задержался.

Князь задернул кожаные занавески в окошечках, что в дверцах возка, и ехал на государев зов в полумраке. Не было нужды таращиться по сторонам – он и так знал дорогу. По Лубянке до Никольской, по Никольской до Торга, до Рядов, оттуда, вправо поворота, к Боровицким воротам. Боровицкие предназначены для хозяйственных нужд, туда может въехать возок, вклинившись между большими санями, на которых везут в Кремль бревна, доски, камень, кирпичи. Много, очень много нужно восстановить и построить заново.

Кремль еще толком не опомнился от польских безобразий. Знающие бабы шепотом передавали за верное, что в подземельях до сих пор находят бочки с человеческим мясом. Враги разорили и загадили царские палаты и церкви. Все это уже удалось отчистить, кое-что – починить, молодой государь жил в тесных деревянных покоях, но уже было решено возводить каменные.

Дмитрий Михайлович выбрался из возка у деревянного крыльца, которое было пока велено звать Постельным, отсюда попадали в государевы покои. Там, сталкиваясь и тихо переругиваясь, спешили взад-вперед стольники, истопники, приказные, внизу толпились зеваки, желающие первыми узнать дворцовые новости.

Князь знал, что вот будут каменные покои – будет и каменное Постельное крыльцо, богатое и просторное, а пока – не до него, столько в государстве всевозможных прорех, и каждая блажит дурным голосом: царь-батюшка, денег, денег!

Трудно Кремлю, трудно и всему государству возрождаться к новой жизни...

Уцелевшие хоромы были небогаты. Князь, выйдя из возка, велел одному из юных стольников, что околачивались у крыльца, бежать в Верх, доложить о себе, и стал неторопливо, метя по ступеням полами богатой шубы на соболях, крытой scarlatным узорным атласом, украшенной позолоченными серебряными пуговицами, всходить на крыльцо.

Шуба была пожалована лет пять назад, когда князь возглавлял Ямской приказ, вместе с милостивым царским словом и государевым жалованьем, и тогда же князь получил позолоченный серебряный кубок. Цена не больно велика, а вот честь – честь немалая.

О своей чести князь Дмитрий Михайлович пекся, но соблюдал достоинство, потому его, воеводу-победителя, при дворе не слишком баловали – пока не вернулся из польского плена патриарх Филарет. Тот живо навел порядок и дал Пожарскому все, что ему причиталось по праву.

В государевых покоях князя ждали сам Михаил Федорович, его батюшка – патриарх Филарет, а также, к некоторому удивлению князя, и матушка – великая старица Марфа.

Патриарху исполнилось семьдесят – если учесть, сколько пришлось пережить этому человеку, даже удивительно, что он до таких лет дожил. Но он сохранил былую статью, а по лицу наблюдательный человек сказал бы: недаром этот мужчина когда-то считался первым на

Москве молодцом и красавцем. Сын не унаследовал роста и стати, но это бы еще полбеды. Если Федор Никитич Романов, ныне – Филарет, смолоду многому учился, многое знал, то сын Михаил не получил достойного образования, и это стало немалой заботой патриарха. Пятилетним его с сестрой отняли у родителей – когда царь Борис под сомнительным предлогом громил и губил романовский род. Тетке, княгине Черкасской, удалось забрать детей и увезти их в ссылку – на Белоозеро. До ученья ли там было? Потом, вернувшись из ссылки в Москву, будущий государь вместе с матерью вскоре оказался в плену у поляков. Когда поляков из Москвы прогнали, мать увезла сына, чтобы спрятать под Костромой, в Ипатьевском монастыре. Менее всего она думала о том, чтобы отрок получил хоть какие-то знания, – жизнь ему бы спасти.

Учиться пришлось, уже взойдя на престол.

Князь Пожарский помнил, как их отыскивали в Кремле и вывели к нему – оголодавших, в смиренной одежде, отрок – испуган, зато матушка – неукротима. И она с той поры, кажется, не изменилась; та, что смолоду была не больно хороша собой, к старости мало чего из красы потеряет...

Старица Марфа была в темной, застегнутой под горло, однорядке, в черном клобуке с наметкой, патриарх – в обычном синем кафтане, распахнутом, так что виден был полосатый зипун, достигавший колена, а на голове – небольшая тафья. Государь также был одет по-домашнему, очень просто, и с непокрытой головой, русые кудри расчесаны на прямой ряд. Государю – двадцать восемь лет, уже и борода с усами – как у зрелого мужа, а во взгляде больших темных глаз нет необходимой уверенности, да и откуда ей быть?

Князь молча перекрестился на образа и поклонился.

– Входи, садись, Дмитрий Михайлович, – сказал патриарх. – Дело такое – знаю, что ты был болен и не совсем исцелился, знаю, да только именно ты нам нужен, такая у нас беда.

Он вздохнул.

– Ко мне приехала спозаранку боярыня Балашова и в ноги повалилась, рыдала и насилу слово могла вымолвить, – продолжала вместо мужа (а патриарха она, хотя оба были насильно пострижены в монашество, продолжала считать мужем, ибо венчание нерушимо) великая старица Марфа. – Были у сына два стольника Балашовых, недавно чином пожалованы, были – и нет их. Убиты. Ездили в подмосковную, куда их боярыня послала, а на обратном пути на них напали налетчики. Они защищались, обоих зарубили. Мужиков, что были при санях, аспиды не тронули – и вот те мужики два тела привезли. И я пришла просить сына – пусть бы велел покончить с шайками налетчиков, пусть бы поставил над Разбойным приказом того, кто сумеет с ними совладать!

Патриарх усмехнулся – он знал строптивый и неумный норов великой старицы. Она не стеснялась раньше вмешиваться в дела государственные и всюю руководила сыном, пока пять лет назад не вернулся из польского плена Филарет.

С одной стороны – не бабье это дело. С другой – он знал, как и почему озлобилась и сделалась не в меру суровой его супруга. Будь она иной – может, не сумела бы в Смуту спасти единственного сына. Но, надо отдать ей должное, она, когда патриарх вернулся из польского плена, без лишних споров передала власть над царством в мужнины руки. Но не над сыном – вопрос царского брака она хотела решать сама, и тут патриарх был принужден ей уступить: он пытался сосватать сыну сперва литовскую королеву, потом племянницу датского короля, потом родственницу шведского короля, и всюду дело не заладилось. Сейчас великой старице Марфе удалось настоять на своем, и сватовство к княжне Марье Долгорукой, похоже, наконец-то было успешным.

– Словом, без долгих речей... – патриарх посмотрел на сына.

– Бери под свою руку Разбойный приказ, князь Дмитрий Михайлович, – велел Михаил Федорович. – Бери и истреби воровские шайки! Указ будет готов сегодня же днем!

– Так, – одобрил патриарх.

По возвращении, как будто мало ему было иных хлопот, пришлось ему вытаскивать сына из-под надежного материнского крыла, учить его – коли принял решение, умей настоять на своем! А нелегко воспитать уверенного в себе государя из юноши кроткого и миролюбивого нрава.

Вот сейчас, отдав повеление, Михаил Федорович взглянул на отца – ладно ли получилось. Отец чуть заметно кивнул.

– Ты недоволен, князь? – спросил патриарх.

– Я только все наладил в Новгороде, и вот – это повеление, – отвечал князь.

– Таких, что могут служить в Новгороде воеводами, я тебе прямо сейчас полдюжины назову, – сказал патриарх. – А такой, как ты, что за любое дело возьмется и с честью его исполнит – может, всего один и есть. Меня не было на Москве, когда ты с ратью отгонял полковника Лисовского от Брянска и брал Карачев. О том, как ты воевал с королевичем Владиславом и государство от него избавил, я от поляков узнал чуть ли не случайно, сидя у них под замком.

– Так то – война, войско против войска, я же какой-никакой, а воевода, должен был отгонять, – усмехнувшись, напомнил князь. – А то налетчики, налетели – и пропали, одни мертвые тела остались.

– А напомнить тебе про Салькова? – спросил патриарх и повернулся к сыну. – Ты, государь, еще отроком был и знать того не мог, а я, вишь, знаю. Объявился в Смуту атаман Сальков. Князь Скопин-Шуйский с войском шел на Москву и дошел уже до Александровской слободы, а этот Сальков так точно выбрал время, когда всем было не до него, вывел своих иродов – а шайку сколотил немалую! – на Коломенскую дорогу. По той дороге шли в Москву возы с припасами из Рязани. Сальков те обозы перехватил. И, видать, заранее сговорился с купцами, которым те припасы продал. А был тогда у поляков такой пан Млоцкий, он в ту пору Коломну осаждал. Может, поляк, а статочно, что и литвин; сказывали, у самозванца много литвинов служило. Едва ли не более, чем поляков. Узнав, что наши в Александровской слободе, он осаду снял и, бес его знает как, сговорился с Сальковым. Вместе стали шалить на дорогах. Выслали против него князя Литвинова-Масальского с ратными людьми – разбил наголову. Выслали воеводу Сукина – и того не пощадил, а сам оседлал Владимирскую дорогу. Кто был третий воевода – знаешь?

Михаил Федорович, догадавшись, посмотрел на князя.

– Да, – подтвердил князь, – мы их выследили и в подходящее место загнали. На речке Пехорке была у нас битва. Сказывали, при нем лишь три десятка человек осталось, с ними – бежал прочь. Потом приплелся в Москву с повинной. И что там с ним в Москве было – того я уже не знал. Может, его поляки на что-то употребили. Ей-Богу, не до него потом было. Да что уж вспоминать...

– Да нет уж, придется вспомнить. Тебе сам Бог велел возглавить Разбойный приказ. Я знаю – когда неприятеля из Кремля выгнали, вы с князем Трубецким чуть ли не сразу велели дьяку Поместного приказа Мартемьянову собрать уцелевшие столбцы Разбойного приказа. И он их искал по всем закоулкам. Что-то даже в Посольском приказе сыскалось. Потом князь Волконский, пока Разбойный приказ не ожил, собрал под свою руку дьяков и подьячих, годных для розыска воровских дел, хотя он не только этим занимался. А потом этот приказ был – как проходной двор, там дьяки и подьячие то и дело менялись, больше года не служили. Хозяина не было – так ты и станешь дельным хозяином. Я знаю, ты воровские шайки уничтожишь и дороги от них освободишь, – сказал патриарх. – И на то – государева воля.

Сказать «моя воля», он мог, будучи соправителем молодого царя, но не желал. Годы такие, что в любой час может призвать к себе Господь, и на кого останется царство? На того, кто сам себя полновластным государем пока не считает?

– Я уже послал за князем Иваном, – добавил патриарх. – Ему велю дать тебе столько людей, сколько потребуется.

Пожарский понял – речь о племяннике Филарета, князе Черкасском, и это означало – решение принято, Черкасский возглавит Стрелецкий приказ. Вернувшись из плена, патриарх долго присматривался к безобразиям, чинимым князем Лобановым-Ростовским, который, права приказом, Бог весть кем себя возомнил. Наконец патриарх велел в прошлом голу подготовить вразумительное обвинение в измене, и Лобанов-Ростовский был отправлен в ссылку. Ивану Черкасскому же патриарх полностью доверял. Была еще одна причина оказывать роду покровительство – сестра патриарха, Марфа Черкасская, ухитрилась спасти его сына Михаила и дочку Татьяну, увезя их с собой в ссылку на Белоозеро. Такое не забывается.

– И я за тебя молиться стану, – пообещала князю великая старица Марфа. – Память у меня такая – твоё добро ко мне и к сыну я крепко запомнила.

Князь ей поклонился.

И патриарх понял – разговор, который мог быть трудным, завершился удачно.

## Глава первая

Новое здание на дворе князя Пожарского, что уже подвели под крышу, было самым обыкновенным для Москвы – жилые помещения в три яруса, почти все на глухих подклетах, два крытых крыльца, двое сеней, вдоль одной стены – гульбище в четыре сажени, вдоль другой – гульбище в пять сажен, в те гульбища выходят окошки горниц, будущих крестовой и столовой палат, повалуша в четыре яруса, верхний вполне мог бы служить сторожевой башней. Из маленьких окошек была видна вся Лубянка, а ежели смотреть вдаль, на все четыре стороны, то и кремлевские башни, и чуть ли не вся стена Белого города с недавно возведенными каменными башнями. До Смуты такое было бы невозможно, а теперь, когда сгорели великолепные высокие терема, а на пожарищах возводят не столь роскошные жилища, взгляд летел вдаль беспрепятственно. Под самим зданием же был уцелевший после пожара каменный погреб, и его расширили. Предполагалось, что летом в этот дом на время переберется княгиня с дочками и всеми комнатными женками и девками, а нынешнее жилище, чудом уцелевшее в пору пожаров, будут чинить и достраивать нужные в хозяйстве помещения. Одно уже есть – крестовая палата, а задуман великолепный высокий терем.

Чекмай вовремя нанял печников, и они работали одновременно с плотниками. В одной из комнат поселились столяры – трудились над резными наличниками и балясинками для крылец и для гульбища. В другой комнате, где уже стояла печь, а в окна были вставлены слюдяные оконницы, работники поставили козлы, на них положили доски – получился стол, а скамейки и скатерти принесли из старого дома. Печь оказалась удачная, когда первые два раза ее протопили – никто не угорел. Перед приходом гостей ее протопили в третий раз.

Чекмай прошелся по дому, поздоровался со знакомыми ему столярами. Их старший, Ждан Клементьев, встал и пошел навстречу, всем видом показывая – видит в Чекмае истинного хозяина княжьего двора.

– Все для главного крыльца у нас уже готово, дело за плотниками, – сказал он. – Работа, сам видишь, отменная. Я взял на пробу Петрушку Кутуза – Кутуз, встань, покажись! Балясины его дела и в царский терем не стыдно поставить.

– Откуда ты такой взялся? – спросил Чекмай столяра. – Отчего раньше Ждан Иванович тебя не приводил?

Кутуз, сутуловатый и угрюмый молодец лет тридцати пяти, вид имел такой, словно его в муке вываляли: лицом бледен, руки – белые, как у боярышни, волосы и борода – того сероватого льняного цвета, что бабы и девки стараются как-то поправить, полоща косы в отваре ромашки.

– Я из Владимира. Овдовел, дети померли в младенчестве, родни там почитай что нет. Решил попытать счастья в Москве.

– Правильно сделал.

Потом Чекмай поглядел, как печники выкладывают печь изразцами – на рудо-желтом поле причудливые птицы с бирюзовым и белым оперением. Он остался доволен – все делалось опрятно.

Убедившись, что в новом доме никто не бездельничает, Чекмай пошел искать истопников и нашел их в княжьих палатах – они тащили в опочивальни княгини и младших княжон охапки дров.

Конец апреля – опасная пора, днем уже тепло, ребятишки носятся без шапок, в одних рубашонках, а ночью так может приморозить, что утром протаявшие почти до земли колеи на улицах, по которым катятся сани, становятся ледяными. Дом, где собрался Чекмай принимать гостей, был совсем новый, дерево еще не просохло, и Чекмай велел истопнику Поздею не жалеть дров.

Поскольку и пост, и Пасха, и Светлая Седмица миновали, на княжьей поварне опять готовили простую и сытную пищу – и мясное, и рыбное. Но Чекмай сговорился с поварами, и ему накрыли в новом доме хороший стол. Также вовремя приносили с поварни горячее: сперва пироги, затем жаркое – мяса и рыбу, затем ушное – похлебку грибную и калю из стерляди. Заедки были припасены заранее и лежали на двух блюдах: сладкие пирожки, орехи, лаваш, пастила, медовые соты, вареные в меду яблоки, винные ягоды. Там же стояли кувшины с узварами.

Гости были – давние друзья, иконописец Глеб с женой Ульянушкой и тремя сыновьями, резчик по дереву Митя с женой Настасьей и сыном Олешей. Старшему из парнишек было восемь лет, младшему – четыре года, их отправили играть в светлицу, которая до поры пустовала. Парнишкам дали пряников и велели играть тихо.

Пора молодости для Глеба и Мити миновала – обоим уж за сорок, в кудрявых Митиных волосах мелькает седина, а у Глеба она куда гуще; лица у обоих тоже изменились, Глебово – стало суше, Митино – отвердело.

Ульянушка же к тридцати трем годам дивно похорошела. Родив троих, нажив малость дородства, красиво округлившись, она обрела повадку уверенной в мужниной любви и довольной своим существованием замужней женщины. Что до Настасьи – она жила с Митей, сумев полюбить мужа настолько, насколько вообще была способна привязаться к человеку, а этого качества Господь ей уделил немного. Всю свою любовь она отдала младшему сыночку.

Собираясь в гости, женщины принарядились – надели праздничные кики, расшитые мелким жемчугом, рубахи из тонкого полотна с жемчужными зарукавьями, сарафаны, на которые спереди была нашита полоса золотного шитья, пестрые душегреи. Они могли это себе позволить. Глеб любил наряжать жену, а Митя просто отдавал Настасье жалованье и не обращал внимания на ее однорядки и сарафаны.

Разговор за столом был самый мирный – о свадьбах.

Дочки Настасьи от покойного мужа Михайлы Деревнина, Дарьюшка и Аксиньюшка, уже вошли в самую пору – а нет хуже, как передержать созревшую для замужества девку в доме. Свахи уже предлагали хороших женихов. Митя всех их переписал, чтобы посоветаться с Чекмаем.

– Не так много на Москве подходящих молодцов, – говорила Настасья. – Как при ляхах народ разбежался во все стороны, так по сей день не сбежался обратно. Мне бабы говорят: бери, что есть, не то и таких разберут.

Чекмай внимательно изучал список.

– Вот, – сказал он. – Артемий Савельев. Я его отца и дядьку знаю. Он сейчас в Разбойном приказе только начинает службу, да они позаботятся. Да и я, коли дело сладится, замолвлю словечко. Знакомцев там имею...

– Да, свой приказный в семье нужен, – заметил Глеб. – Всякое бывает, а время – беспокойное. А знакомцы кто?

– Тут у нас такое... – загадочно произнес Чекмай.

Князь, приехав из Кремля, послал за ним, повел в крестовую, и был меж ними военный совет.

– Отказать государю и патриарху я никак не мог, – говорил Дмитрий Михайлович. – Так что буду принимать дела. А дела – сам понимаешь, какие. Там покойников накопилось – на большое кладбище станет...

– Тати, воры и налетчики – не дураки, чай, – отвечал Чекмай. – Они живо пронюхают, что ты взял под свою руку Разбойный приказ.

– Я чай, уже пронюхали.

– Коли кто еще не знает – так вскоре узнают, как ты с Сальковым справился...

– Мы справились, – напомнил князь. – Ты же тогда при мне был и в поиск молодцов водил. Так вот, я тебя в приказ явно не возьму. Ты не должен быть на виду. Твое дело сейчас – безопасность княгини и деток. Устрой так, чтобы их денно и ночью охраняли.

– Велишь раздать истопникам оружие?

Истопники были в хоромах – свои люди, проверенные и испытанные, имели доступ во все помещения, и в опочивальню княгини также.

– Раздай. Купчишек на двор пускать лишь ведомых.

Княгиня Прасковья Варфоломеевна сама по лавкам Торга не ездила – коли в чем была нужда, ей купцы с приказчиками сами привозили.

– Так.

– Новых работников пока не нанимать.

– Так.

– Я тем временем начну разбираться в делах Разбойного приказа и разгонять дармоедов. Сдается, и не только дармоедов.

Чекмай знал – когда у князя так сдвигаются брови, принято решение действовать по его особым, княжьим законам, и тут хоть многие тысячи ему обещай – с пути не свернет.

– А потом как? – спросил Чекмай.

– А потом – как всегда. О чем мы сговариваемся и что затеваем – никому знать не положено. Те, что будут крутиться у Разбойного приказа, вынюхивать да домыслы строить, тебя там не увидят.

– Все знают, что я тебе служу. Коли я там ни разу не появлюсь...

– Уразумел. Иногда станешь приходить.

– Так.

– Когда Гаврила вернется – опять будет при тебе.

– Если вернется... – тихо сказал Чекмай.

– Если не вернется – значит, плохо ты его воспитал.

Князь рассказал о погибших стольниках Балашовых.

– Дурой нужно быть, чтобы парнишек в такое время в подмосковную отправлять. Им казалось, будто саблю в руку возьмешь – и она сама во все стороны разить примется, – князь вздохнул.

– Восемнадцать – это уж не парнишка.

– Кто в Смуту рос и мужал – тот и в пятнадцать почти что взрослый. А эти – в Кремле росли, живого казака, ляха и литвина, может, в глаза не видывали. Так что беремся за дело – будем разгребать Авгиевы конюшни.

Чекмай тихо засмеялся.

Мало кто на Москве знал, что сие речение означает. А князь и Чекмай – знали, поскольку монах, учивший их грамоте, был человеком книжным и немало таких историй вычитал и своими словами пересказывал.

Потом они из крестовой палаты пошли в покои княгини и деток – князь сделал жене краткое внушение, призывая к величайшей осторожности, а Чекмай исследовал, какие окошки куда глядят да нет ли чего подозрительного в чуланах, вроде окошка, заставленного старой рухлядью. Так он дошел до княжьей опочивальни и, подойдя к стене, погладил ножны длинной, в полтора аршина, сабли, что крепилась к персидскому ковру.

Это была знатная сабля, рукоять обложена чеканным позолоченным серебром, украшена бирюзой, в головке рукояти – немалой величины смарагд, на крестовине – пластина яшмы с бирюзовыми вставками. И деревянные ножны также обложены золоченым серебром, по которому мелкий цветочный узор и камешки бирюзы. Устье и наконечник ножен, а также охватывающие их обоймицы – сказочно хороши, обложены яшмой, по которой – тонкая золотая насечка, мелкие красные яхонты и смарагды в золотых гнездах. Отменно потрудились золотых

дел мастера и немало, видать, отдали за саблю московские жители – оружие они преподнесли князю в знак благодарности за освобождение. Саблю эту князь очень ценил и берег, прицеплял к поясу редко, да и не биться же такой в бою. Боя она и не знавала.

Для боя было другое оружие – лучшие турецкие, персидские, черкасские клинки. А эта сабля – память, которая останется детям, внукам и правнукам. Это – честь.

Чекмай, глядя на нее, обычно вспоминал былое и улыбался.

И вот он уже третий день исполнял княжье поручение. Понимая, что настоящие заботы – еще впереди, он позвал друзей на угощение – как знать, когда еще будет для того время и возможность.

Глеб ничего не сказал, лишь кивнул, и Чекмай понял – он догадался. И то – новости по Кремлю разлетаются быстро...

Из светлицы, куда отправили ребятишек, донеслись вопли. Настасья и Ульянушка поспешили туда – разбираться. За ними пошел Митя. Олешенька был поздним и единственным ребенком, других детей у Мити, статочно, уже не будет, а в этом кудрявом, как отец, ангелочке – вся его жизнь.

Глеб и Чекмай молчали. Глеб, после сладких пряженных пирожков, шарил ложкой в почти опустевшей миске с солеными рыжиками. Чекмай смотрел на соленые огурцы, как будто решая – есть или не есть?

Но на самом деле это был беззвучный разговор.

– Я был бы с тобой, – говорил Глеб, – да вот только Ульянушка и дети... Мне детей поднимать...

– А то я не разумею, – даже не взглядом, а молчанием своим отвечал Чекмай. – Не мучайся, не трави душу. Это в Смуту на войну шли все. А сейчас – тот, по кому плакать не станут ни жена, ни дети.

Пожалуй, если бы Чекмай смолоду завел жену и детишек, семейная жизнь стала бы для него привычной. Но потом – потом он все более понимал, что не для него это.

Спустились Ульянушка и Настасья, Митя пришел чуть позже – развлекал детишек скороговорками.

– Подрались из-за дурости, кто-то кому-то подножку подставил, – сказала мужу Ульянушка. – Дело житейское. Мишенька на косяк налетел, шишка у него на лбу.

– Если сейчас будут синяков и шишек бояться, что из них вырастет? – спросил Чекмай. – А шишка заживет! Снегу ком нажми и к ней приложи.

Ульянушка и Настасья стали наперебой рассказывать о своем опыте лечения парнишек, которые куда только не залезали и откуда только не падали. Чекмай усмехался – он чуточку завидовал Глебу, но не показывал этого. А тут и Митя спустился.

– Четверть четверика гороха без червоточинки, – сказал он. – И бредут бобры в сыры боры, бобры храбры, до бобрят добры. Авось хоть немного в светлице будет тихо.

В сени с крыльца вошел человек и распахнул дверь в горницу.

– Мир дому сему, – негромко сказал статный русоволосый молодец в простом тулупчике, но с богатым меховым колпаком в руке.

Тулупчик распахнулся, под ним был туго перепоясанный синий кафтан, а на поясе – длинный нож немецкого дела, с костяной рукоятью, в занятных ножнах – эти ножны имели на себе еще кармашек для другого клинка, вершков трех в длину.

– Гаврила! – воскликнул Чекмай. – Слава те Господи! Вернулся! Ну, что, как?

– Помер дед. Я его в живых не застал.

– Господи Иисусе, царствие небесное... – зашептали, крестясь, женщины.

– Никто не вечен, а Ивану Андреевичу, поди, уже восьмой десяток шел, – сказал Глеб. – Но у него там, в Вологде, семья была, жена и сынок. Где они?

– Я их там оставлять не стал, с собой привез. Сейчас они у вас, дядька Митрий, отдыхают с дороги. А мне сказали, что ты с матушкой и с Олешей пошел к дядьке Чекмаю, ну так я – сюда...

Старшие дочери Настасьи приходились дедову младшему сыну Никите, как это ни забавно, племянницами, а Гаврила – племянником. Они были детьми дедова покойного сына Михайлы. И Гаврила именно туда должен был привезти отрока Никиту с его матушкой Авдотьей. По крайней мере, он так полагал. У Настасьи, впрочем, было иное мнение.

– Царствие небесное, – молвила Настасья. – Грех чего дурного сказать, свекор он был хороший, добрый. Садись сюда, сынок, соскучилась я по тебе. Обниму хоть... Сколько не виделись!

Гаврила стал рассказывать, как доехал до Вологды, как исполнил поручения и отдал в воеводской избе грамоты из Земского и Стрелецкого приказов, как не сразу нашел дедово жилище, какой спор вышел с его вдовой.

Авдотья не хотела уезжать из Вологды. Не то чтобы ей было там хорошо, а просто – не хотела. Там жили две ее замужние дочери, Аннушка и Василиса, с мужьями и детьми. Гаврила стал объяснять: Никите, сыну покойного деда, стало быть, Гаврилиному родному дядюшке, лучше жить на Москве, где он сможет учиться и готовиться к службе. А что за учеба и что за служба в Вологде?

Авдотья возражала: в Вологде спокойнее, чем в Москве, и казацьи отряды под городские стены не подступают. Гаврила напомнил: пока ополчение шло освобождать Москву, Вологду легко взяли польские и литовские люди, с ними – бунташные казаки. Как они подошли к городу незамеченными – непонятно; стрельцы в тот день пили, гуляли и всячески веселились, воеводы не отставали, караул у ворот был мал и неопытен. Три дня грабили Вологду, многих жителей убили, церкви разорили, на прощание город подожгли. Старый Деревнин нюхом чуял – быть беде. Он вовремя увел своих, жену с младенцем, дочек с новобрачными мужьями, в леса за Дюдиковой пустыню. Авдотья это помнила, но в Москву не желала.

Лаялись, лаялись, наконец вмешалась Аннушка, припомнила матушке какие-то загадочные былые грехи. Дальше уже спорили мать с дочерью, а Гавриле слушать это надоело, и он пошел прочь – погулять по Вологде. Было ему что вспомнить – несколько месяцев там прожил в пору Смуты, когда дед, ожидая больших неприятностей от поляков, увез в Вологду с помощью приятеля-купца свое семейство – жену с дочками и вдовую невестку с внуком и внучками.

На помощь Аннушке пришла Василиса, общими усилиями они мать уломали и помогли ей собраться в дорогу. Еще какое-то время ждали обоза на Владимир. Потом во Владимире ждали обоза на Москву. Бог миловал – добрались благополучно.

– Душа моя, пора и честь знать, – сказал жене Глеб.

– Да и нам, – добавил, обращаясь к Настасье, Митя. – Ты, Гаврюша, тут ведь останешься? А то – приходи к ужину!

Женщины отправились наверх, за детьми, и задержались на лестнице.

– До чего ж глуп мужеский пол, – прошептала Настасья. – Как дети малые, до десяти сосчитать не умеют.

– Нишкни, – одернула ее Ульянушка. – Кому какое дело?

– А такое – отчего мне теперь заботиться о невесте чьем сыне? Как по пальцам месяцы сочтешь – так и выходит, что Никита – не от покойного свекра. А им и невдомек!

– Коли твой покойный свекор его крестить, как родного, велел, стало быть – так ему надо. Не станешь ведь теперь с покойником спорить.

– Так как же быть?

Ульянушка вздохнула. Она все прекрасно понимала, считать умела, Авдотью не одобряла. Но и обсуждать с Настасьей Авдотьины грехи не желала.

Одно было женщинам ясно: впутывать в это дело мужчин нельзя. Раз уж Гаврила привез Авдотью – придется держать языки за зубами. Иначе – непонятно, куда же ее с сыном девать. Не то чтобы Глеб и Митя были такими уж несокрушимыми праведниками... Но святость супружеского союза они понимали по-мужски, без снисхождения к оступившейся женщине.

Потом всех ребятишек одели и повели домой. За неубранным столом остались Чекмай и Гаврила.

– Жаль деда, – сказал Гаврила. – Годы, конечно, и хворобы...

– Не всякий до того дня доживет, чтобы внука увидеть взрослым молодцом.

– Так ведь не увидел...

– Он все про тебя знал. И ты ему весточки передавал, и я – при случае. Думаю, он за тебя радовался.

– Он всегда хотел, чтобы я в приказе служил, а не князю. Хотел – в Земский меня определить, где сам чуть не сорок лет прослужил.

– Поменее. Ну, приказ у нас с тобой будет... когда с одним дельцем справимся...

Чекмай рассказал Гавриле новость.

– Доедай пироги, – велел он воспитаннику. – Ночевать оставайся тут. Я велю мыльню истопить, дров не жалея. Столько всяких обрезков и обрубков – на полгода все печи топить станет.

– Мыльня с дороги – это славно!

Чекмай вышел на крыльцо, окликнул пробежавшего Климку, велел позвать к себе старого истопника Федота, по прозванию Корноух – в Смуту ему пол-уха польская сабля снесла. Потом он потолковал с Гаврилой про положение дел в Вологде, принял у него письма от вологодских знакомцев и снова вышел на крыльцо – спросить дворовых, не вернулся ли князь из приказа. Оказалось – нет, не вернулся.

Разговор с ним состоялся уже на следующее утро.

Каждый раз, приходя к князю, Чекмай беззвучно молился Богу: хоть бы был в духе. С Дмитрием Михайловичем случалось – накатывала на него угрюмая мрачность, а отчего – поди догадайся. То ли старые раны ноют, то ли голова разболелась – а она тоже в Смуту получила изрядную рану, то ли снова привязалась хворь, которую лекари именуют «черным недугом»: вроде бы тело не страждет, а душа погружается в какие-то беспросветные пучины. Такое за князем водилось издавна.

Однако на сей раз он был довольно бодр и даже весел – насколько вообще был способен к веселью.

– Вот с чего следует начать, – сказал Дмитрий Михайлович. – С литвинов. Литвины пришли на Москву с ляхами, было их тут немало, а когда мы Москву очистили, не все из них в свое княжество литовское убрались. Я про то как-то еще в Смуту с патриархом беседовал. И он прямо говорил – ляхов было мало, те полтысячи, которых в Москве перебили, когда порешили Расстригу, приехали его свадьбу праздновать. А против нас воевали казаки, с толку сбитые, да литвины.

– Одного такого я, помнится, сам для тебя изловил. Он служил в войске Сапеги. Помнишь, когда мы на две недели уходили языков надежных брать? Его так и звали – Пронко Литвин. Потом мы его в обозе, кажись, за собой возили.

– Помню! А многие после всей суматохи остались тут и, статочно, объединились с бунташными казаками – с теми, что на государя двенадцать лет назад охотились. Сейчас те казаки, что уцелели, сбились в шайки, как-то договорились с нашими налетчиками. Я смотрел кое-какие сказки, какие отобраны у свидетелей и у пойманных злодеев. И, сдастся, эти сукины дети просто-напросто поделили меж собой московские окрестности. Я взял домой немногие столбцы Разбойного приказа со сказками, остальные доставят, мне обещали еще принести столбцы из Земского приказа, и мы с тобой сегодня будем их читать и сверять.

– Как прикажешь, – буркнул Чекмай.

Сверка приказных столбцов – дело муторное, утомительное, требующее хорошей памяти. Имен и прозвищ там скопилось – со времени царя Ивана...

– Вот так и прикажу. Будем искать литвинские имена. Одно я уже знаю – Янушко, что родом из Пропойска. Да не смейся – доподлинно есть такой город. Понимаешь, литвину легче говорить по-нашему, чем ляху, ежели наловчится – его от здешнего посадского человека не отличишь. К тому же, литвин, скорее всего, православный, крестится по-нашему. А он же, подлец, тут постарается укорениться, может, женится на вдове, вдов тогда осталось много. Ты видел письма самозванца? – спросил князь.

– Видел.

– Помнишь, что там было? Что он-де пришел к Москве с литовскими людьми. Мы тогда не поняли – для нас что лях, что литвин, все едино было. Враг! А вот теперь оно и вылезло на свет Божий.

– Что ж они домой не ушли? – спросил Чекмай.

– А кто их знает... Иной, может, не мог – раны залечивал... Иной – пошел воевать, потому что дома у него уж земля под ногами горела... Мало ли сомнительного народа прибежало к нам в Ополчение? Там могли надежно спрятаться...

– А иной – чересчур хорошо поладил с казаками...

В дверь поскребся Ивашка, парнишка лет двенадцати, служивший на побегушках и постоянно ожидавший в сенях приказаний.

– Заходи! – велел князь. – Что там?

– К твоей милости человек с коробом! Сказался из Земского приказа.

Когда гость вошел, Чекмай рассмеялся:

– Да это не человек с коробом, а короб с человеком!

– От судьбы Урусова тебе, княже, столбцы, – и гость, спустив с плеч на пол лубяное вместилище невероятной величины, поклонился в пояс. – Все туда, понятно, не влезли, я потом еще принесу.

– Чекмай, дай ему за труды деньгу, – велел князь.

Чекмай взял с аналая, за которым князь частенько стоя писал письма, листок дешевой рыхлой бумаги, завернул две «чешуйки», каждая – в полушку, и вручил гонцу. Иначе нельзя – без бумажки только нищим на паперти подают. Тот поблагодарил и помог выложить свернутые в трубочку столбцы на широкую скамью.

– Вот бы кто сейчас пригодился, так это подъячий Деревнин, – глядя на гору столбцов чуть не в полтора аршина высотой, сказал Чекмай. – Он бы в этих залежах живо разобрался.

– А где он? – полюбопытствовал князь.

– Помер в Вологде. А его жену с сыном Гаврила в Москву привез.

– Деревнина помню. Так ведь сын – поди, уже зрелый муж?

– Кабы Михайла Деревнин остался жив, то и был бы зрелым мужем. А Никита у Ивана Андреевича младшенький, во внуки годится. Гаврила его привез, чтобы тут к службе готовить. Двенадцать лет отроку – пора.

– Пора... – князь вздохнул. – Ну что, брат, беремся за дело?

– Может, позвать кого на помощь? Из Разбойного приказа? – осторожно спросил Чекмай. Ему сильно не нравилась гора столбцов.

– Нет. Как полагаешь, отчего по сей день Разбойный приказ никак не мог с воровскими шайками справиться? Войны наше царство не ведет, ратные люди есть...

– Понял.

– Вот то-то же. В Земском приказе не знают, на что мне столбцы потребовались. И никто не должен знать. Мне придется не только налетчиков, но и измену истреблять.

Князь взял верхний столбец, развернул – получилось поболее аршина.

– Хорошо хоть почерк внятный...

В дверь опять поскребся Ивашка.

– К твоей милости человек с коробом! Сказался – из Разбойного приказа!

Этот короб был ничуть не меньше первого.

– Выписывай имена, похожие на литвинские, из Земского приказа, а я – из Разбойного. Должен же я знать, что делалось вокруг Москвы, пока я хозяйничал в Новгороде, – приказал князь. – Будем сличать – непременно одни и те же имена по делам обоих приказов проходят.

– Может, Гаврилу позвать? – жалобно предложил Чекмай. – Он – верный, и языком мести не станет. Он после дороги да после мыльни у меня в комнате отсыпается.

– Ладно, зови Гаврилу!

## Глава вторая

Авдотья Деревнина не хотела возвращаться в Москву. Доводы рассудка сперва пролетали мимо ушей. Она, овдовев, хотела жить возле замужних дочек. Сынок Никита, двенадцатилетний, совсем скоро возмужает, пойдет на службу, станет жить своей жизнью, и что ж тогда останется матери? Дочки и маленькие внуки. Вторично выходить замуж – Боже упаси. Да и как, если нет приданого?

В Авдотьиной жизни было то, чего порядочной женщине вроде бы не полагается, – безумная и непоколебимая любовь. Она с ранней юности знала, что пойдет под венец с Никитой Вострым, красавчиком-соседом. Но Никита, служивший в Посольском приказе, был послан сопровождать киргиз-кайсацкое посольство, пропал целый год, а тем временем Авдотью сговорили за немолодого вдового подьячего Ивана Андреевича Деревнина. Под венец чуть ли не за косу тащили.

Муж был к ней добр, не обижал, по части супружеских радостей не усердствовал – хоть это утешало. Авдотья первым делом родила двух дочек-двойняшек, и они стали поводом поменьше присутствовать в супружеской постели. С Никитой она тайно видалась. До греха не доходило – если не считать грехом тайные краткие объятия да рукопожатия.

А потом началась Смута.

Муж увез жену с невесткой и дочек с внучками в Вологду. Там, в Вологде, сперва по странному стечению обстоятельств Авдотья поверила, будто муж погиб. А потом, по другому стечению обстоятельств, она встретилась с Никитой – и пошла за ним, не размышляя, туда, куда повел за собой. А повел туда, где повздорил с казаками и был зарублен саблей на глазах у Авдотьи.

Она тогда была брюхата на четвертом месяце.

Была над телом так – много чего повидавшие казаки шарахнулись и, даже не обругав, ушли восвояси.

Куда деваться? Авдотья решила вернуться к дочкам в Вологду – ведь не дадут пропасть непутевой матушке? А там обнаружила своего венчанного супруга – живым и вполне здоровым.

Муж изменился. Как и почему – Авдотья могла лишь гадать. Но он – простил, привел в свое жилище, и потом, когда родился сынок, они понемногу стали жить вместе, с виду – как муж и жена.

Ничего – хорошо жили. Иван Андреевич прошения и купчие составлял, советы давал, его в городе уважали. Потом – сам сынка грамоте учил. Другое дело – что зрение с каждым годом все хуже делалось, писал, чуть ли не носом по бумаге водя. Авдотья вела дом, со всеми хлопотами справлялась сама и даже за три дня до родов белье стирала.

Сына окрестили Никитой – так она хотела, а муж не возражал. Более того, ни разу ни в чем Авдотью не упрекнул. И вел себя так, как полагается немолодому отцу шустрого дитяти.

Заботы о Никитушке как-то даже сблизили их. И Авдотья не возражала, когда немолодой супруг решил осуществить в постели свое супружеское право. Это было как будто знак, что они – доподлинно родители Никитушки. Она даже сама его обнимала.

Незадолго до приезда Гаврилы старый подьячий умер – всем бы такую кончину мирную и непостыдную, думала Авдотья, устраивая похороны. Ушла с корзинкой на торг, вернулась – муж лежит на лавке под образами. Видать, понял, что дело неладно, и успел добрести...

А потом приехал его внук Гаврила. Он остался в деревнинском роду за старшего.

Гаврила объявил, что забирает ее с Никитой в Москву – так будет лучше для отрока. Никита для всех – сын покойного Деревнина, Гаврила – внук, стало быть, отрок ему дядей

приходится. Когда в семье много детей, и разница между старшим и младшим достигает двадцати лет, такое случается; забавно, однако дело обычное.

Авдотья воспротивилась. В дело вмешались дочери. Они тоже считали, что маленькому братцу лучше жить в Москве, – так сказали. А подоплекой было понимание: о матушке с братцем придется заботиться, подкармливать, дрова им на зиму запастись. Муж-то, добытчик, помер и большого наследства не оставил. Дочки же, Аннушка с Василисушкой, не желали ссориться с мужьями из-за трат на тещу. Понять это можно – обе стали хорошими и даже прижимистыми хозяйками.

Словом, выпроводили они Авдотью из Вологды.

Чем ближе к Москве – тем пасмурнее делалось на душе. Никитушка радовался – ему Гаврила обещал всякие диковинки показать. Авдотья же понимала – там каждый камушек будет напоминать о другом Никите, о единственно любимом.

Ее любовь к сыну была продолжением любви к Никите – в лице отрока она видела милые сердцу черты, и чем старше становился сын – тем эти черты были определеннее; младенческие пухлые щечки пропали; рот растянулся – улыбка сделалась от уха до уха; нос вытянулся; светлые волосы стали совсем отцовские – так же падали на лоб. Возлюбленный понемногу возвращался к ней...

Гаврила для начала поселил их у Настасьи, своей матушки, невестки покойного мужа. По глазам и всей повадке Настасьи Авдотья поняла – та знает, что сын – не от мужа. В ту пору они обе жили в Вологде, и если Гаврила, которого Чекмай забрал с собой на войну, не знал про побег Авдотьи с Никитой и про ее возвращение, не стал вычислять, что в котором месяце было, то Настасья – не дура... Ничего Гавриле не говорит – и на том спасибо!

Она, конечно, взялась помогать Настасье по хозяйству, но в свободные часы старалась уйти – и говорила, что в церковь, но сама порой просто бесцельно ходила по Москве. Когда высохла весенняя слякоть, могла и довольно далеко забрести.

Никитушку отдали в обучение старику, бывшему приказному, который занимался с ним чтением душеспасительных книг, счетом и выработыванием красивого и четкого почерка. У того был внук, Никитушкин ровесник, хворенький, учился – чтобы поступить послушником в обитель, они сдружились, и сынок охотнее проводил время в чужом доме, а не с матерью.

Москва, которую Авдотья знала, сгорела в Смуту. Теперь строили новую. Лавки, где она покупала все, что надобно хозяйке, пропали. Хорошо хоть, знакомые церкви чудом уцелели. Подружек юности разметало по разным концам города – их теперь не найти. Родители, которые отдали ее за Деревнина, не пожелав ждать возвращения Никиты Вострого, погибли в Смуту. Где младшая сестра – одному Богу ведомо. Если вовремя не убежала с мужем из Кремля, где у них был дворик, то померла с голоду – вместе со всей семьей. Когда наши осадили Кремль, голод там был такой – человечье мясо открыто продавали...

Авдотья за семь верст обходила места, где выросла, где жила в девушках, где соседствовала с Никитой. Но однажды ноги сами привели туда. Дом сгорел еще при поляках. Там новый хозяин возводил хоромы. Тут бы и уйти... А она дальше пошла – ко двору Вострых. Там домишко уцелел.

Разволновалась Авдотья, сердце заколотилось – как будто в ожидании чуда: вдруг да выйдет из калитки любимый?

Она спросила у проходившей мимо бабы о хозяевах того двора. Оказалось – какие-то Потешкины. Откуда взялись, как дом и двор заполучили – баба не знала.

Она ушла, а у Авдотьи сил не было идти. Все вспомнилось! Как ночью в сад выбегала – через забор словечком перемолвиться, как с высокого крыльца высматривала своего ненаглядного.

Как давно это было! В последний раз видела Никиту – ей тридцать четыре годочка исполнилось. Не молодость – но все еще была женой в самом соку и втихомолку гордилась Никитиной любовью. А теперь – сорок семь, бабка, семеро внуков, и в косах густая седина.

Заплакала Авдотья об ушедшей молодости, да и пошла прочь.

В другой раз до Ипатьевской церкви дошла. И там-то послал ей Господь утешение.

Давно, еще шестнадцатилетней, бегала она сюда – хоть взглядом встретиться с Никитой. Потом, уже выйдя замуж, в этой церкви тайно видалась с Никитиной мамкой – Анной Петровной. Мамка очень желала, чтобы питомец повенчался на Авдотье, и полагала, что еще не все потеряно: богатая невеста, которую Никите сосватали, оказалась хворой и, как догадались женщины, через эту хворь бесплодной. Вся надежда была – чтобы скончались эта горемыка и Иван Андреевич, тогда Анна Петровна устроила бы брак двоих овдовевших возлюбленных.

Не сладилось...

В полумраке, поскольку горели только лампадки перед образами да несколько свечек, увидела Авдотья у канунника Анну Петровну и сразу ее узнала, хотя мамка стала совершенной старушкой, сухой и сгорбленной. И прямо в церкви обняла!

– Голубушка моя, лапушка моя... – шептала мамка. – Привел Господь увидеться... Пойдем, пойдем скорее, будет моей Марьюшке радость...

Марьюшкой она звала матушку Никиты, вместе с которой выросла.

– Она жива?

– Жива! Тебя все вспоминает! Говорит – успели бы женить Никитушку на Дунюшке, остались бы внучатки! А теперь – ни одного...

Авдотья окаменела.

Сын!..

Ей вдруг стало страшно – не натворить бы беды, сказав Марье Федоровне, что у нее есть внук.

– Пойдем, пойдем, – торопила мамка Авдотью. – Она тебе будет рада! Прощения попросит за то, что вовремя тебя не сватали! Это у нее – как тяжелый камень на душе!

И Авдотья пошла к несостоявшейся свекрови.

Мамка Петровна и Марья Федоровна Вострая жили тут же, в Строгановском переулке. Они поселились вместе с дальней родственницей, также вдовой, но имевшей двоих взрослых сыновей, вели совместное хозяйство и обе стали очень богомольны.

Авдотья вошла в тесную горенку, где жили обе старушки, перекрестилась на образа и молча глядела на Марью Федоровну. Она помнила эту женщину еще крепкой, дородной, круглолицей, отчаянно нарумяненной, сейчас же навстречу встала с лавки исхудавшая и жалкая старуха, вдобавок, что-то у нее от перенесенных бедствий сделалось с рассудком. Она звала погибшую в годы Смуты дочь, чтобы та накрыла на стол.

Когда она поняла, что перед ней – бывшая невеста покойного сына, то вдруг разрыдалась, а потом, словно опомнившись, стала говорить очень толково и связно. Она хотела знать, где и как погиб сын, – Авдотья рассказала. Тогда Марья Федоровна задала совсем разумный вопрос: как вышло, что Авдотья оказалась вместе с Никитой в казацком стане?

– Долго рассказывать, – отвечала Авдотья.

– А ты расскажи, сделай мне ради Бога такую милость, – попросила старуха. – Мне о сыночке моем послушать – и то уж утешение. Как он тебя отыскал?

– В Вологде.

– Петровна сказывала, что тебя в Вологду увезли, – вспомнила Марья Федоровна. – И что, как?

Стыдно было Авдотье рассказывать, как, потеряв от внезапного счастья рассудок, они с Никитой тайно сошлись в амбаре Канатного двора, на бухтах каната. Она, как-то обойдя подробности, сказала лишь, что овдовела и что Никита забрал ее с собой.

– Дура я была, дурища бестолковая, надо было сразу тебя сватать! – воскликнула Марья Федоровна. – Чего ждали?.. Была б ты мне невесткой, внуков бы родила, а теперь я – как куст обкошенный, одна... Что мне радости от всего моего бабьего добра в укладках, от тряпичной казны, когда ни сыночка, ни внуков? Петровна, подай укладку, да не эту, а малую...

Марья Федоровна достала дорогой золотой крест, чуть ли не в пять рублей ценой.

– Возьми, Дунюшка. Ты до последнего с моим Никитушкой была, ты ему оченьки закрыла... Бери! Не в гроб же мне с собой это добро брать! Бери – и зла на меня не держи!

– Возьми, дитятко... – беззвучно прошелестела Анна Петровна. – Не то она разволнуется, кричать начнет...

Нашли шнурок, смастерили гайтанчик, крест повесили Авдотье на шею. И вскоре она ушла, пообещав приходить, когда получится.

Мысли у нее были пестрые, сбивчивые и тревожные.

Она немолода, сердечко уж побаливает. А сердечная хворь часто приводит к скорой смерти. Если она вдруг помрет – что станется с Никитушкой? Что, если Настасья откроет Гавриле правду? Станет ли Гаврила заботиться о чужом по крови отроке? Настасья – та уж точно не станет!

А у Марьи Федоровны есть какая-никакая дальняя родня. Если она оставит Никите сокровища из своей малой укладочки...

Ну да, успела Авдотья заглянуть в ту укладочку!

Если ей, не приведи Господь, завтра помирать – что она сыночку оставит? А коли ничего не оставит – куда ему деваться? Пробраться к единоутробным сестрицам в Вологду? Так ведь могут и не принять. Дочки у Авдотьи стали, как выразился однажды покойный муж, жестокыйные. Его, отца, они порой навещали, у себя принимали, а матери до сих пор не могли простить, что она их бросила, сбежав с любовником.

А в укладке было много всего, точно не разобрать, все перепуталось и лежало кучкой. А ведь, кроме малой, была еще и большая укладка...

Несколько дней Авдотья думу думала. А потом настало воскресенье. С утра нужно самой идти в церковь и деточек с собой брать. Авдотья и Настасья собрались, принарядили Дарьюшку с Аксиньюшкой – девки на выданье, пусть женихи любят! Авдотья даже дала Дарьюшке поносить свои серьги с лазоревыми яхонтами. Настасья нарядила маленького Олешеньку – Митя зарабатывал в Оружейной палате неплохо, на единственного сына денег не жалел. Авдотья тоже собрала Никитушку как могла. А после службы сказала Настасье, что отыскала дальнюю родню, хочет сводить к ней сына – показать.

– А богата ли родня? – спросила благоразумная Настасья.

– Богата, вот я и думаю...

Авдотья не завершила мысль, но Настасья поняла.

– Ну так веди! Может, там же и пообедаете.

Марья Федоровна и Анна Петровна сидели дома – где ж им еще быть после службы, двум старухам? Когда в горенку вошла, ведя Никиту за руку, Авдотья и поставила его перед родной бабкой, первой опомнилась мамка:

– Батюшки-светы, Никитушка! Я бы и в толпе признала!

Марья Федоровна не закричала, не рассмеялась счастливым смехом, молчала довольно долго. И сказала:

– Ты его сберегла... Ты его воспитала... Ты, ты...

И покачнулась на лавке.

Ее отпаивали холодной водой, курили перед лицом жжеными перьями. Наконец уложили на лавку.

– Это с ней случается, – шепнула мамка. – А и ты хороша – нет чтоб как-то ее приготовить... Вышло – как снег на голову...

Потом все вместе сидели за столом. Марья Федоровна не сводила глаз с внука, который решительно ничего не понимал.

– Петровна, свет мой, добеги до Норейки, пусть бы Матюшка добежал до Торга, принес пряников, принес калачей, левашников, пастилы!

– Что за имя такое – Норейка? – спросила Авдотья. – Впервой слышу. Какое-то не русское.

– А не имя, лапушка моя! Прозвание ему – Норейко, – объяснила мамка. – Он не из здешних посадских людей. Он на здешней вдове лет с десяток тому женился. Матюшка ему – не родной, а родных уже трое. Звать его Осипом. Осип Норейко – вот как!

Авдотья задумалась – до чего ж странное прозвание, хотя на Москве и не такие случаются; до Смуты по соседству жил Авдей Осина-Нога, и ничего – как-то соседи притерпелись. Но Марья Федоровна отвлекла ее разговором про обед, и больше уж про Осипа Норейку речи не было. Потом прибежал его пасынок Матюшка, получил деньги на пряники с калачами, да с лихвой – чтобы радостней было бежать. Потом Петровна споро накрыла на стол, и все, помолясь, сели.

На душе у Авдотьи впервые за долгое время было светло – словно в родной дом попала. Она видела, что Марья Федоровна уже безумно любит внука, уже всячески старается ему угодить, уже подарила пять алтын – на лакомства.

– Потом, Бог даст, дойду до соседки Ефросиньи, она знатные рубахи на продажу шьет. Нарядим Никитушку, как маленького царевича! – пообещала бабка. – Ведь до чего ж хорош! Волосики светленькие вьются – как у моего Никитушки. Ангел, чистый ангел!

И Авдотья поняла – жизнь готовит ей еще немало радостей.

Прибежал Матюшка, принес большой калач, три пряника, полдюжины левашников и сказал:

– А отпустите Никишку со мной! У нас на соседском дворе качели, для девок поставлены, нас туда пускают! Соседи уехали, дома один старый дед, уже почти не выходит, нас просили за двором присмотреть! Я его приведу!

– И впрямь, что отроку с нами, со старухами, сидеть? – спросила мамка. – Пусть потешится!

Никита обрадовался несказанно – взрослые разговоры, при которых велено сидеть и молчать, ему уже надоели. И Матюшка показался ему отличным товарищем – парнишка рослый, улыбочивый, нрава мирного, уживчивого. Этот не станет добровольно сидеть дома за книжками о божественном.

– Ступай, мой голубчик, – сказала Марья Федоровна. – Да смотри, в свайку не играй. Эта игра опасная.

Про свайку Никите еще Иван Андреевич Деревнин рассказывал: что-де из-за этой игры погиб маленький царевич Дмитрий Иванович. Заостренных железных прутиков и колец дома не водилось. А научиться Никите страх как хотелось.

– Не будем, матушка Марья Федоровна, – по-взрослому любезно отвечал Матюшка. А когда выскочили в сени, да на двор, да от избытка сил понеслись вприпрыжку по улице, сказал, остановившись у калитки:

– А у нас и свайка есть!

Никита был счастлив: солнце пригревало, за высоким забором распелись девки, в руке – печатный пряник, на нем олень с рогами, да еще поиграть в свайку – чего еще желать парнишке?

Качели были такие, что на них и малые дети могли качаться, и отроки, и взрослые молодичицы. Состояли они из бревна и лежащей поперек длинной доски. Детки – те забавлялись сидя, вверх-вниз. Отроки и отроковицы – стоя. А были ловкие молодичицы – когда их край доски поднимется вверх, они еще и подпрыгнут как можно выше.

Никита и Матюшка сперва качались просто, потом – подпрыгивая. На их счастливые крики вышел Матюшкин отчим и перебрался на соседский двор через дыру в заборе.

Был это крепкий мужик в зрелых годах – пожалуй, уж и полвека стукнуло. Но о своем облике заботился – усы и бороду, а также русые пушистые волосы надо лбом ровненько подстригал. Чтобы не разлетались и не мешали работать – охватил их узким кожаным ремешком. Глубоко посаженные глаза казались совсем черными. Рубаху, подпоясанную не выше и не ниже положенного, а как следует, отчим носил опрятную, с красной вышивкой по плечам, порты – самые простые, холщовые. Левая рука была перевязана чистой тряпицей – видать, рукодельничал и порезался.

– Так ты гостя привел! Это славно, – сказал он. – Я – дядька Осип, а ты кто таков, хлопчик?

Никита назвался – младший сын подьячего Деревнина; подьячий в Вологде помер и похоронен, Никиту с матушкой привезли к родне, чтобы готовить к государевой службе.

– И что, в Земский приказ определят?

Никита пожал плечами – он об этом еще не задумывался.

– Это бы славно, – произнес Матюшкин отчим. – Этак ты и до дьяка дослужишься. Ты к нам почаще приходи. Найдется чем будущего дьяка угостить!

Отчим ушел.

– У других, у кого матушка вдругорядь замуж пошла, таких добрых приемных отцов нет, – сказал Матюшка. – А мой только два... нет, три раза подзатыльник дал и никогда не порол. Он меня по Москве посылает с грамотками, как вернусь – полушку дает, порой и деньгу. Я теперь всю Москву знаю!

– А ремесло у него какое?

– А мы – резчики, доски для печатных пряников режем! – с гордостью сказал Матюшка. – И за них хорошо платят. У нас доски и на большие пряники, и на малые! Ты когда-нибудь видел пряницы? Я тебе покажу! А знаменит доски один богомаз, у него славно выходит. Там и кони, и рыбы, и терема! Наши пряницы хорошо берут! Хочешь – иди к отчиму в ученье! Это веселее, чем в приказе сидеть. А верно ли, что приказных веревками к скамьям привязывают, чтобы весь день сидели и писали?

Про такое Никита от Ивана Андреевича ни разу не слышал. А вот что многие приказные – у самого царя на виду, он знал, и этим похвалился.

Так они забавлялись разговором и тешились качелями, пока не прибежала Авдотья. Марья Федоровна разволновалась, стала выкрикивать невразумительные слова, и Авдотья кинулась на поиски сына. Хорошенько его отругав, увела.

Никита шел и думал: будь что будет, а сюда надо возвращаться и с Матюшкой дружить. Епишка – хворенький, только и разговору, что о книжках и о житиях святых. А Матюшка – славный детинка и свайку лихо мечет. От Зарядья – недалеко. Мало ли, что бабы кудахчут! А он уже скоро возмужает, и на бабье кудахтанье ему будет начхать!

## Глава третья

Разбойный приказ, главой которого так внезапно стал князь Дмитрий Пожарский, и впрямь сильно смахивал на проходной двор. Дел хватало – в приказ стекались челобитные, нужно было принимать решения о назначении губных старост и целовальников, о строительстве тюрьмы, расследовать разбои и кражи. Судьи менялись ежегодно, дольше всех просидел в этом чине дьяк Налянов – более двух лет. Великое дело совершили дьяк Третьяк Григорьевич Корсаков и подьячий Никита Васильевич Постников – обновили Указную книгу Разбойного приказа, откопав в залежах старых бумаг и собрав воедино необходимые для работы указы со времен царя Ивана. Ее уже стали переписывать и рассылать по городам.

На помощь губным старостам из Москвы присылали опытных сыщиков, которым местный воевода или же, при возможности, староста обязан был дать отряд ратных людей. Порой удавалось удачно справиться с воровской шайкой, а порой – и нет. Вместе с сыщиком обычно присылался подьячий из Разбойного приказа. Вместе они наводили порядок в деятельности губной избы.

Но на излете Смуты случилась беда. Польский королевич Владислав хорошо помнил, что ему был обещан московский престол, и выступил с ратью на Москву. Было это осенью 7126 года от сотворения мира – или же 1617 года, как считал европеец Владислав. По случаю войны опять разгулялись воры, налетчики и прочие лиходеи. А простому человеку как знать, кто разорил и поджег его дворишко: литвины, ляхи, казаки, черкасы или доморощенные ироды? Когда Владислава прогнали, в Москву хлынули челобитные. Докопаться до правды была невозможно, и Боярская дума в конце концов запретила расследование грабежей и разбоя той поры, сославшись на то, что была война, а война все спишет.

Вот такое наследство досталось князю Пожарскому. И он отлично понимал, что ватаги и ватажки, оставшиеся безнаказанными, никуда не делись.

Князь и Чекмай выписывали не только имена сыщиков, застрявших в Устюжне или Соликамске, не только имена, схожие с литвинскими, делая приписки вроде такой: сдается, замешан в краже кошель с деньгами у попа Амвросия. Им хотелось отыскать людей, что служили в Земском и в Разбойном приказах не за страх, а за совесть. Они – те, кто не штаны в приказной избе просиживал, а сам выходил с оружием брать татя и злодея.

Никого лишнего в комнату, где проводились эти изыскания, не впускали. Чекмай ночевал не в своей горенке, а в чулане, примыкавшем к комнате. Туда же им приносили кушанье.

– А вот... – Чекмай приподнял столбец. – Павлик Бусурман. Именно так – Павлик. Отличился, когда брали иродов, что священника с дьячком убили и церковь обокрали. В третий раз уж он в столбцах Земского приказа мне попадает. Сдается – наш человек.

– Приказный?

– Да нет, стрелец. Из тех, кого приказные для опасного дела употребляют.

– Берем. Запиши. А у меня – Ермачко Смирной. Тут запутанное дело – думали, он на посадского человека клеветает, оказалось – как-то опознал налетчика.

– Хорош Смирной...

– Чекмай, надобно Мамлея Ластуху сыскать! Вот кто – лазутчик милостью Божьей! Он после Смуты в Москве осел, а когда от королевича Владислава отбивались – сам пришел и стал в строй, я его тогда видел.

– Точно! Его ни с кем не спутаешь. Я с ним в деле был – еще когда на Москву шли, под Ярославлем. Помнишь, когда на две седмицы в поиск уходили да пропали, и дружок мой Глебка уж собирался панихиду служить, уж попа нанял! А тут – мы! В церковь прибежали, помнишь? Кричали: вот-де мы, из гробов вылезли! Как тот евангельский одержимый!

Князь недовольно фыркнул.

– Ты нас тогда еще скоморохами обозвал, – напомнил Чекмай.

– Отчего ж – обозвал? Вы и были истинные скоморохи. Вы ж на паперти, аки бесы, скакали. А Ластуха ржал, как жеребец стоялый. Все войско потешалось.

– На войне без этого нельзя...

– Нельзя...

Оба задумались, вспоминая былое.

Чекмай заметил – было не только веселое безобразие, была кровь ручьями, много боевых товарищей полегло. А вот, видно, время еще не пришло прикасаться к этим воспоминаниям. Когда сидели за столом с Глебом и Митей – тоже о скорбном не говорили. Митя вспоминал, как мешочек с шахматными фигурками с собой возил, а шахматного столика не было – так он клетки на земле чертил. Тоже бойцы смеялись и поддразнивали...

– А ведь скоморохи нам могут пригодиться, – сказал Чекмай. – Их в богатые дома зовут хозяев тешить. А коли у кого на дворе скоморохи галдят, тут же народ сбегается – повеселиться. Вот кого надобно нанять! Их многие знают, они всюду могут приходиться, они лучше всяких лазутчиков.

– Да – коли они нам служат. А коли налетчикам? – так князь остудил Чекмаев пыл. – Но ты прав, приглядеться к веселым не мешает. Ну, на сегодня хватит. У меня уж в глазах рябит.

– Хватит, – согласился Чекмай. – Прилег бы ты, княже. А я пойду искать стрельца Бусурмана.

– И прилягу.

Князь не любил признаваться, что давние раны порой сильно беспокоят.

Чекмай сам расправил на скамье тюфячок, сам укрыл князю ноги беличьим одеяльцем. А потом надел мясного цвета однорядку, просунув руки в прорези там, где пришиты рукава, рукава же в хорошую погоду просто связываются за спиной, чтобы не мешали. Он вышел во двор – и даже захлебнулся свежим весенним воздухом. Там он окликнул дворового парнишку Миколку и велел сыскать Гаврилу. Сам же прошел в уцелевший сад – невеликий, но в хозяйстве необходимый. Когда в семье девицы на возрасте – где ж им летом быть, как не в саду?

Чекмай сам себе напомнил: спешно нанять толкового садовника, чтобы привез саженцы и укоренил их, как полагается, пока не поздно. Также этот толковый садовник укажет место, где копать пруд. В московских садах до Смуты всегда пруды были. В тот, что на княжьем дворе, столько всякой дряни за эти суматошные годы было сброшено – чем чистить, проще зарыть и сделать новый.

По просьбе Чекмая ему прикатали почтенный чурбан и поставили под яблоней. Он протянул к лицу ветку с набухшими почками – скоро, совсем скоро проклюнутся листочки и родятся на длинных тонких стебельках розовато-белые цветы.

Новая весна не приносила прежней радости. Раньше было ожидание счастливых перемен, ожидание побед. А теперь – впору благодарить иродов-налетчиков: охота за ними давала ощущение, что жизнь протекает не напрасно. И сильное, крепкое, лишь малость огрузневшее тело еще для всего годится – и для поиска во главе лазутчиков, и для сабельного боя, и для ночной скачки. Тело, хотя и обзаведясь шрамами, все еще молодо...

Чекмай подставил лицо солнечным лучам и закрыл глаза. Ему было хорошо. Ветер доносил запах распиленной древесины, запах стружек – самый что ни есть мирный. Когда Чекмай впервые ощутил в воскресающей Москве этот бодрый запах – просто стоял и дышал им. Это означало, что Смута завершается, что люди готовы жить обычной жизнью. Значит, не зря собиралось Ополчение!

– Звал, дядька?

– Звал. Пойдем в Кремль. Я – впереди, ты – следом. Если кто-то уже вертится вокруг княжьего двора, тут мы его и обнаружим. Они, сукины дети, знают меня в лицо – впрочем, и тебя тоже. Отстанешь на полсотни шагов...

Шагая по Лубянке, Чекмай думал о Гавриле. Очень ему не хотелось, чтобы воспитанник повторил его путь и остался одиноким. С одной стороны, неженатый Гаврила был Чекмаю нужен – его можно всюду послать на любой срок, он рваться домой, к женке под бочок, не станет. А с другой – на ком бы его женить? Молодец он видный, кровь с молоком, не найдется дуры, что не захотела бы с ним повенчаться.

В конце концов Чекмай решил обсудить это с Настасьей. Она Гавриле мать, тоже, поди, о невестке задумывается.

Если Ульянушку Чекмай любил и радовался за Глеба, который так удачно женился, то Настасью – не очень, считая, что эта баба – ни рыба, ни мясо. Он понимал, что за Митю Настасья пошла без особой любви, а также знал, что к этому браку княгиня Пожарская руку приложила. Но сына родила – и на том превеликая благодарность.

Вспомнив про Митинога Олешеньку, Чекмай невольно подумал о Никитушке. Этот Гаврилин дядюшка был уже в тех годах, что можно к делу пристраивать. Ежели он рос при Деревнине – то должен знать грамоте. И не забрать ли его на княжий двор? Нельзя оставлять парнишку при бабах – бабой его вырастят. Ульянушка – та на войне с мужем побывала и знает, что почем, опять же, Глеб – родитель строгий. А Митя – мягок, грубого слова жене не скажет, и это не всегда похвально...

Чтобы найти на Москве стрельца, нет нужды искать его в приказе – стрелецкие караулы стоят вокруг Кремля, у всех лестниц и ворот, на стенах и башнях. И не может же князь Черкасский, сидя в каменных приказных палатах, знать в лицо каждого забулдыжного стрельца. Стало быть, нужен любой стрелецкий караул – молодцы подскажут, где искать этого Павлика Бусурмана. Вряд ли человек, которого употребляют для дел Земского приказа, служит в Стрельном полку, охраняющем государя. Хотя всякое может быть.

Стрельцы у Никольских ворот сразу поняли, о ком речь, но как-то подозрительно засмеялись. Искать Павлика посоветовали в кабаке – в любом, их возле каменных Рядов немало.

Павлик оказался тонким, черноволосым, черноглазым, брови – вразлет, и, ежели сбрить бородку, так от красивой девки не отличить. Сказывалась черкесская кровь. И Чекмай знал, откуда на Москве такие бусурманские красавцы.

Семьдесят три года назад царь Иван, овдовев, взял за себя черкесскую княжну Кученей. Ее покрестили в память Марии Магдалины. Как он жил с этой Марьей Темрюковной – передавали разное, и даже такое, что срам выговорить. Разумеется, вместе с княжной приехала ее родня. Марья Темрюковна умерла – а родня так и осталась на Москве. Один из её племянников – Хорошай-мурза, во святом крещении Борис Камбулатович, ухитрился понравиться Никите Романовичу Захарьину, отцу нынешнего патриарха Филарета, тогда еще – Федора, да так, что за него отдали Марфу – родную сестру Филарета. Сейчас их сын Иван возглавил Стрелецкий приказ. Надо полагать, он мог бы покровительствовать Павлику Бусурману...

Этого человека Чекмай и Гаврила вывели из кабака. Был он простоволос, в одной рубахе, в портах столь изгвазданных, как будто ими Ивановскую площадь мыли, но – со стрелецкой берендейкой поперек груди. Ругался он гнилыми словами и даже князя Черкасского честил неудобь сказуемо.

– Как быть? – спросил Гаврила.

– Как, как... Идем к реке.

На берегу кипела жизнь – солнечный день выманил туда ребятишек, отважно шлепавших босиком по узкой полоске мелководья, и баб-мовниц с корзинами белья.

Чекмай разжился у толстой портомой ведром и вылил холодную воду на голову своей находке, при этом Гаврила держал Бусурмана в согбенном положении – чтобы его одежду не замочить.

Павлик заорал благим матом, но в голове у него явственно просветлело.

Он сорвал в себя рубаху вместе с берендейкой, яростно растер голову и шею, мгновение подумал – и швырнул рубаху в реку. Тут же задрывшая подол и забежавшая по колено в воду баба подхватила ее, вытащила и пошлепала прочь от безумца.

– Не отдаст, зубами вцепится, а не отдаст, – заметил Гаврила.

– Ну и леший с ней, – сказал Павлик. – Не буду бегать за всякой дурой!

И лихо подбоченился.

– Ежели вся наша добыча будет такова... – Чекмай не завершил мысль, но Гаврила его понял.

– Дядька Чекмай, он так – не от хорошей жизни.

– Дурак нам не надобен.

Думая, какое тут можно принять решение, Чекмай глядел на реку. По реке тащилась большая плоскодонка, груженная белым камнем так, что вода достигала самого края бортов; камень везли для строительства богатой усадьбы. Это был последний за весну груз такого рода – местные крестьяне трудились в штольнях зимой, до начала полевых работ, и все, что было выработано, уже попало в руки каменщикам, строящим новую Москву.

Павлик Бусурман вздыхал, охал и мотал головой – да так, что водяная россыпь летела во все стороны, а вороньи кудри становились дыбом и трепыхались.

– Опамятовался? – спросил Чекмай.

– Нет. Башка совсем дурная.

– Хорошо хоть, не врешь, – сказал ему Гаврила. – Что стряслось-то?

– Я его порешу.

– Кого, свет?

– Бакалду.

– А Бакалда кто таков?

Павлик только рукой махнул.

– Дядька Чекмай, негоже ему тут телешом стоять, – сказал тогда Гаврила.

– Я ему не мамка, чтобы ручки в рукавчики вдевать. Да и ты тоже. Кто кашу заварил – тот пусть и расхлебывает.

– Я его к дядьке Митрию отведу. Замерзнет на ветру – привяжется к нему гнилая горячка.

– Дядька Митрий, как придет домой, его тут же усадит в шахматы играть.

– Шахматы? – спросил Бусурман. – Это мы можем!

– Ну, веди, – вздохнув, позволил Чекмай. Ему было жаль красивого молодца, но он знал особую способность пьющих людей садиться на шею тем, кто их жалеет. А Митя был из жалостливых. Однако дом ведет Настасья – этой на шею не сядешь и ножки не свесишь!

Настасья, овдовев и будучи долгое время под строгой опекой свекра, почти отучилась что-то для себя решать и действовать. Замужество ее преобразило – она вдруг поняла, что Митя станет приносить и отдавать жалованье, тратить же по своему усмотрению – она! Оказалось, для женщины это много значит. Княгиня Пожарская, сладившая этот брак, примерно так себе и представляла семейную жизнь чудака, заядлого игрока в шахматы и способного резчика по дереву Мити, плохого она бы другу Чекмая не сотворила.

Пообещав устроить Павлика в чулане и бегом бежать на княжий двор, Гаврила стремительно увел его, а Чекмай остался на берегу и стоял бездумно, подставив лицо солнечным лучам. Зима вроде выдалась не слишком бурная, откуда же эта усталость? Наконец сказываются годы?

Вешний душистый воздух, и серебряная рябь на воде, и звонкая переключка босоногих парнишек, и внезапный мощный бас дьякона, который, стоя в лодке, переправлялся из Замоскворечья и окликал знакомцев на берегу... Тот безмятежный мир, за который воевали... Воевал-то ты, а достался он – другим...

Ермачко Смирной и Мамлей Ластуха. Что за птица Ермачко – еще неведомо; вполне может статься, что сделался питухом, царева кабака отшельником. А вот Ластуху следовало отыскать во что бы то ни стало. Даже странно, что его след оказался потерян.

Мамлей – имя не христианское, хотя этот человек крещен в православие; когда перед боем молебны служили и причащали, он к причастию приступал. У него есть крещальное имя, записанное в церковной книге, но ежели его этим именем окликнуть – может и не обернуться. Мамлеем, видать, звала бабка-татарка...

С именами в Московском царстве была знатная путаница. Взять хотя бы князя, Дмитрия Михайловича. Чекмай насилу привык к этому имени, потому что с детства звал князя Кузьмой. Так его нарекли родители при рождении, так звали близкие довольно долго. А почему окрестили Дмитрием да почему это имя не сразу прижилось – Чекмай не знал. Как-то спросил матушку, служившую старой княгине, Марье Федоровне, она ничего толком объяснить не могла.

Умственно выстраивая путь, который может привести к Ластухе, Чекмай пошел с берега прочь, намереваясь вернуться на княжий двор и продолжить раскопки в приказных столбцах, однако ноги сами привели в Зарядье, где поселились Митя с Настасьей. Точнее сказать, поселилась Настасья – отсюда ее взяли замуж за покойного Михайлу Деревнина, тут у нее остались двоюродные сестры, пережившие все беды Смуты в Москве.

Митю же это устраивало – недалеко утром бежать на службу в мастерские Оружейной палаты. Его вообще нынче все устраивало: в Москву вернулись из Вологды те богатые купцы, что звали его потешиться игрой в шахматы и за то делали хорошие подарки, в мастерских он был на хорошем счету, а главное – рос поздний и долгожданный сынок Олешенька.

Сынка Настасья просто обожала. Когда у нее родился Гаврила, она была еще очень молода и настоящей матерью себя не осознавала, тем более, что Иван Андреевич сразу приставил к внуку толковую мамку. Потом родились дочери, но умер муж, отпускать сноху из дома замуж за другого мужчину свекор не желал, и хорошей матерью Настасья сделалась поневоле. В Вологде был всплеск внезапного чувства – вдруг понравился пригожий молодец, но он об этом так никогда и не узнал. А дальше – ее сосватали с Митей, который однажды спас ее от смерти, их повенчали, и истинная любовь, захватившая душу, была – к Олешеньке. Уж как она гордилась дитятей, как наряжала, как баловала – на всей Москве, пожалуй, не было такой замечательной матери.

Гаврила, здоровенный детина, даже малость ревновал – ему-то такой любви не досталось.

Когда явился Чекмай, Гаврила сидел за столом и ел щи из квашеной капусты, сдобренные сметаной.

Как он и обещал, Павлик Бусурман спал в чулане. Настасья же и гостю налила в отдельную миску щей. Хорошо готовить еду она так и не выучилась, но получалось вроде бы съедобно.

Разговор за столом был деловой.

– А я, кажись, знаю, как искать Ермачка Смирного, причем так, чтобы не идти за ним в Земский приказ, – сказал Гаврила. – У покойного деда остались приятели, старые приказные, они к нам приходили, а сейчас, поди, при внуках на покое живут. Тот Ермачко им должен быть ведом. Погоди, дядька, доем – и припомню имена.

– Дело говоришь, – одобрил Чекмай и убрал с усов и бороды длинные и тонкие капустные ошметки. – У тебя же и причина есть их навестить – рассказать про деда.

И тут откуда-то сверху донесся пронзительный визг.

– Мои! – воскликнула Настасья, как раз перекладывавшая в миску горячие оладьи, чтобы полить их медом.

Метнув миску на стол, она подхватила кочергу и кинулась к лестнице, что вела в девичью светелку. Чекмай и Гаврила поспешили следом.

В светелке они обнаружили полуголого Павлика. Он сидел на полу, обхватив голову руками, а Дарьюшка с Аксиньюшкой били его всем, что под руку подворачивалось. Да и неудивительно – девки перепугались, когда к ним ввалился плохо соображающий и почти раздетый молодец.

Чекмай вовремя удержал Настасьину руку – удар кочерги по дурной голове мог оказаться смертельным. Гаврила же быстро вытащил свое приобретение на лестницу и спустил по ступеням.

– Гони его в тычки! – крикнул сверху Чекмай. – Вычеркиваем из списка – и пусть катится на все четыре стороны!

Бусурмана в тычки согнали со двора. Потом долго успокаивали Настасью и девок, божись, что больше они этого аспида никогда не увидят. Наконец Чекмай увел Гаврилу из материнского дома. По дороге к князьему двору ничем не попрекнул, и лишь, взойдя наверх, сказал задумчиво:

– Не забыть бы попросить отца Гурия проповедь прочесть о вреде милосердия.

Остаток дня они сверяли и изучали столбцы Разбойного и Земского приказа. Выяснили, что за Ростокиным чуть не десять лет шалит атаман Мишута Сусло со своими налетчиками, и многие его видели, да только издали, и Мишута неуловим. Потом обратили внимание на некоего Дорошка Супрыгу, труженика Земского приказа, который занимался шалостями Сусла, когда тот появлялся на Москве. Было еще несколько имен, к которым стоило приглядеться. Хотя бы к атаману Густомесу, оседлавшему Стромынку; судя по всему, Густомес, взяв добычу, прятал ее в деревне Щелково, принадлежащей князьям Трубецким.

А потом Чекмая вызвали на двор.

– Тут один детина шатается, то взад-вперед пройдет, то норовит через забор заглянуть, и все как-то по-дурацки, открыто.

– Пошли, разберемся, – и Чекмай, подзвав двух надежных и плечистых молодцов, вышел с ними за ворота.

На другой стороне Ивановского переулочка торчал человек с непокрытой головой, в длинной рубахе, достигавшей края голенищ.

– Сей? – спросил Чекмай.

– Он самый.

– Возвращайтесь. Он не опасен.

Но молодцы остались стоять у калитки. Мало кому внушил бы доверие кудлатый человек, что среди бела дня разгуливает в бабьей рубахе.

– Ступай прочь, Бусурман, тебе тут делать нечего, – сказал, подойдя, Чекмай.

– Ты мне сперва скажи, из какого списка собрался меня вычеркивать.

За несколько часов Павлик протрезвел. Говорил внятно, глядел прямо.

– Рубаху где взял?

– С веревки стянул. Я верну.

– Ступай. Ты нам не надобен.

– А коли пригожусь?

– Бабьи рубахи с веревок таскать?

– В каком списке я был?

– Мы искали нужных людей. Думали, из тебя выйдет толк. Ошиблись, ты уж прости, – Чекмай повернулся и пошел прочь.

Павлик забежал вперед и заступил ему дорогу.

– А ты испытай меня!

– Есть на Москве человек, Мамлей Ластуха, – поразмыслив, сказал Чекмай. – Он лет сорока, я полагаю, а лицом, хотя имя вроде татарское, почти не смахивает на татарина. Разве

что глаза как-то по-татарски шурит. Где обретается – хрен его знает. Вот тебе три дня. Отыщешь – будем разговаривать. Нет – не обессудь.

– Сыщу. А как с ним дальше быть?

– Приходи сюда, спроси Чекмая. Да без лишнего шума.

– И то будет исполнено, – как полагается приказному служителю, четко отвечал Павлик. Затем, не прощаясь, повернулся и зашагал прочь. Люди давали дорогу чудаку в бабьей рубахе и громко смеялись у него за спиной. Но его это вовсе не смущало.

Чекмай проводил Бусурмана взглядом и усмехнулся – чего только не увидишь на княжьей службе...

Оказалось – было еще поручение, да такое, что похожего исполнять не доводилось. К нему подбежал Ивашка, служивший на посылках, и доложил, что княгиня велит прийти.

Прасковья Варфоломеевна редко напрямую о чем-то просила Чекмая, а более – через мужа. Именно князь еще зимой передал, что она сама хочет выбрать изразцы для нового дома, так чтобы ей принесли образцы. Князь укатил по зимнику в Новгород, а Чекмай сам был при том, как два купца предлагали княгине товар.

– Что твоей милости угодно? – спросил он, поклонившись и встав в дверях опочивальни.

– Сослужи мне службу – поезжай на двор покойного князя Зотова и забери оттуда княжну Вассу. Вот ее мамка, она с тобой поедет, – княгиня указала на женщину средних лет, стоявшую у стены вместе с комнатными женщинами.

– Исполню, коли велишь, – отвечал несколько удивленный поручением Чекмай. – Только возок наш... Подойдет ли для княжны?..

Возок был стар, и Чекмай собирался к следующей осени раздобыть новый.

Княгиня посмотрела на мамку.

– Так нам хоть на старой кляче верхом, лишь бы поскорей оттуда уехать, – сказала мамка. – Беда, беда!

В возок заложили возника, на облучок сел Пафнутьич, на другого возника вскочил верхом Чекмай, с ним пошли пешком Дементий – пожилой мужичище той породы, что бычка могут на плечах унести, и Стенька – тоже крепкий детинушка.

Дементия Чекмай раздобыл в Новгороде – тот был ведомым кулачным бойцом, не раз стаивал в стенке, в самом челе, хотя бойца-надежи, что прорывает с налету стенку противника, из него не получилось, чересчур тяжел для быстрого бега. Решив, что такой кулак величиной с горшок-кашник на войне непременно понадобится, Чекмай сговорился с ним и увел его с собой. И точно – в поиск Дементий не ходил, был изрядно велик и неповоротлив, а при князе состоял и однажды этим самым кулаком насмерть зашиб подосланного убийцу.

А пока запрягали одного возника и седлали другого, мамка Манефа Григорьевна все обсказала.

Княжна в Смуту потеряла родителей, жила при бабке, а та возьми да и помри. В тот же день часть дворни разбежалась – ушли дворник, истопник, кухарка с мужем. Близкой родни не осталось, одну Вассушку в терему оставлять негоже. Опять же – положил на нее глаз некий молодец и вбил себе в голову, что непременно должен ее увезти. Пока бабка была жива – он не осмеливался, а теперь девицу и защитить некому. Григорьевна и побежала к княгине Пожарской...

– Кабы у нас государыня была! – говорила она Чекмаю. – Так нет государыни, государя никак не женят. А заведено – при царице живут боярышни-сиротинушки, учатся рукодельям и Закону Божию, и она их замуж выдает. Была бы государыня – я бы ей в ноженьки пала: забери Вассушку, спрячь ее! А государыни-то и нет...

– Да, тут у нас сущая беда, – согласился Чекмай.

О том, как молодой государь пожелал жениться по собственному выбору, да злые люди помешали, вся Москва знала. Великая инокиня Марфа, не пожелав видеть невесткой Марью

Хлопову, сейчас, сказывали, избрала княжну Марью Долгорукую. С этим делом уже следовало спешить – молодца стараются обыкновенно женить лет в двадцать, а государю – двадцать восемь, поди.

Замысел мамки был весьма неглуп – в палатах князя Пожарского девица была в полной безопасности. А для княгини это – богоугодное дело.

Мамку посадили в возок, Чекмай подбоднул коня каблуками, и они неторопливо двинулись к Дмитровке. Там совсем недавно начали заводить двory знатные люди, а зотовский был выстроен при царе Борисе, благосклонном к князьям Зотовым, не настолько родовитым, чтобы мешать ему в его замыслах.

Когда подъезжали – Чекмай услышал заполошные крики. Услышала их и мамка Григорьевна.

– Это он, ирод проклятый, это он! – завопила мамка.

Чекмай редко брал с собой саблю, а вот хороший персидский клинок и летучий кистень дома не оставлял. Он спешился и, спросив у мамки, где может быть княжна, побежал, скользя по раскисшему двору, к терему, Дементий со Стенькой – следом.

Это действительно был попытка похищения. Неведомый молодец привел четверых товарищей, в переулке их ждал возок. Княжну, заткнув ей рот, уже несли на руках к тому возку. Сенные девки уже и визжать не могли – дыхание иссякло. Одна стояла, привалившись к стене, другая сидела на ступеньках крыльца.

– Совсем сдурели! – сказал Чекмай, заступая похитителям путь. – Смута давно кончилась, а вы еще колобродите!

Летучий кистень в опытных руках – очень неприятное орудие. В бою не на жизнь, а на смерть, им можно так благословить противника в висок, что – со святыми упокой. Чекмай же, шагнув вперед и в сторону, хорошо треснул одного из похитителей по плечу. Судя по крику – сломал какую-то кость. Дементий, тоже бывший при кистене, даже не стал вытаскивать рукоять из-за пояса – обошелся кулачищами. Стенька же подхватил княжну и не дал ей упасть в грязь.

На него наскочил долговязый детинушка, попытался выхватить перепуганную княжну, однако Чекмай это затею разгадал. Он ловко перехватил руку противника, вывернул и уложил детинушку рожей в слякоть.

Девушку закинули в возок к мамке, возок покотился прочь, а Чекмай с товарищами остались прикрывать отступление. Но похитители разбежались.

– Сопливцы! – презрительно сказал Стенька. – Боя не видывали, а туда же...

– Возвращайтесь на княжий двор, да с бережением, – велел Чекмай, – а я поеду охранять возок. Как быть с дворней – пусть княгиня решает.

Когда добрались до Лубянки, когда возок въехал в распахнутые ворота, Чекмай спешился у крыльца и кинул повод парнишке Фролке.

– Пафнутыч, поближе, поближе подводи! – крикнул он.

– Не получается! – отвечал Пафнутыч.

Делать нечего – Чекмай по грязи подошел к возку.

– Не дрожи, княжна, я тебя на руках донесу, – сказал он. – Держись за меня крепче.

Потом доставим тебя, Григорьевна.

На гульбище вышла княгиня с юными княжнами и комнатными женщинами.

– Неси прямо ко мне, – велела княгиня.

– Не могу, у меня сапоги – чуть не по колено в грязи.

– Ничего, девки полы отчистят.

Пол в палатах княгини, был устлан войлоком, поверх войлока натянута плотное сукно мясного цвета.

Вышел на гульбище и сам князь.

– Надобно писать челобитную в Земский приказ! – крикнул ему Чекмай. – Среди бела дня девку выкрасть хотели! Это так оставлять нельзя.

И, оглядевшись, высмотрел в дворне детину покрепче, Федьку, велел ему взнести на крыльцо мамку Григорьевну.

– Будет челобитная! – отвечал князь. – Только нужны имена и прозвания.

– Будут имена!

Чекмай внес княжну в богато убранный покой, поставил на ноги, она покачнулась, тут же к ней кинулись женщины, усадили на лавку.

– Набралась страху, бедненькая... Обеспамятела, голубушка... – шептали они.

Княжна Васса уже в возке пришла в себя, она даже не нуждалась в том, чтобы ее на руках по лестницам таскали. А мамка Григорьевна опустила перед Чекмаем на колени:

– Бог тебя наградит, молодец!

– Да ладно тебе...

Княжна встала и сделала шаг к Чекмаю. Он повернулся и тут наконец разглядел девушку.

На вид ей было лет шестнадцать. В суматохе она потеряла девичью повязку с головы, ворот рубахи был надорван, черная однорядка распахнута, волосы взъерошились. Княжну вытащили, как она по дому ходила, без белил и румян, а в том, чтобы брови чернить, у нее нужды не было – от природы черны и довольно густы. Чем-то она смахивала на Павлика Бусурмана – может, тоже в роду были черкесы, приехавшие на Москву еще при царе Иване.

Княжна встала перед Чекмаем и уставилась на него так, как девице глядеть не положено, без всякого стыда.

– Ахти мне, голубушка моя! – воскликнула мамка Григорьевна, с трудом поднялась на ноги и обняла ее. – Ты прости, молодец, мы потом поблагодарим... молебен во здравие тебе закажем...

– Веди ее наверх, я велела приготовить ей постель в светлице, – сказала княгиня. И княжну Зотову увели.

– Пойду и я, – сказал Чекмай, – дела много.

– Ступай. Моя благодарность потом будет.

Чекмай кивнул и вышел.

## Глава четвертая

Ермачко Смирной отыскался на Ивановской площади. Он устал служить в Земском приказе, опять же – годы немолодые, ему за пятьдесят, уже с дубинкой за вором не побегаешь, да и хворь привязалась – именуемая почечуй. С этой хворью Ермачко пошел к лекарю-немцу, из тех, что приехали из Лифляндии при царе Борисе, и узнал, что она от долгого сидения приключается, а в приказе за столом случалось и от рассвета до заката сидеть. К тому же, наследство от дедова младшего брата, потерявшего в Смуту семью, вовремя осталось – домишко с садом. Домишко Ермачко тут же сдал купцу – благо тот стоял в хорошем месте, на Ильинке, а улица-то – торговая.

Потом он сговорился с площадным подьячим Савелием Винником, стал исполнять поручения. Совсем без дела – нельзя. Хотя бы потому, что дома – вдовья тетка, а выносить ее общество целый день – никаких сил не хватит.

Чекмай встретился со Смирным там, где русскому человеку приятно и сподручно встречаться, – в кабаке.

Он увидел человека, которого верней всего было бы назвать тусклым. Голос – тихий, ровный и невыразительный, взгляд погасший, движения – такие, будто он силу берег, и годы тоже какие-то невнятные: уже давно не молодец, пока еще не старец. По случаю знакомства выпили по чарочке, и Смирной малость ожил.

– Послужить князю – отчего бы нет? – сказал Ермачко. – Да только у меня условие есть.

– Говори.

– Меня как смолоду кликали Ермачком, так и по сей день кличут. Даже в столбцах Ермачком пишут. А я – Ермолай Степанович! Так-то! – вдруг воскликнул Смирной. – Желая, чтобы Ермачком не кликали! У меня уж двое внуков, перед ними стыдно!

Криком в кабаке никого не удивишь, а Чекмая – и подавно.

– Будь по-твоему, Ермолай Степанович, – миролюбиво сказал он. – Не угодно ли тебе сегодня ж жаловать в гости к князю?

Впервые в жизни к Ермачку обращались столь уважительно. Он приосанился.

– Мне-то? А что ж! Угодно!

И снова ссутулился, снова заговорил тихо, уважительно, как будто ему стало стыдно за недавний возглас.

Когда стемнело, Чекмай через садовую калитку привел Смирного к князю.

– К твоей милости Ермолай Степанович, сын Смирной!

Князь был догадлив.

– Входи, Ермолай Степанович. Коли ты здесь – стало быть, готов служить.

– Готов служить твоей княжьей милости, – отвечал Ермачко, да так – словно служить придется под страхом смертной казни.

В горнице, где князь принимал сего гостя, было мрачно, горели лампада перед образами да две дорогие белые свечи на столе. Князю было нелегко разглядеть остановившегося в дверях человека, к тому же, его в этот день допекала головная боль.

– Подойди поближе, Ермолай Степанович, – велел он.

Ермачко, смущаясь, исполнил приказание.

– Говори, кто таков.

Смирной доложил о себе; особо напирал на то, что в пору Смуты также был в ополчении, убежав из Москвы в Ярославль. Правду о своей службе Отечеству, впрочем, не сказал, а правда вкратце была такова: деньги на исходе, жена буянит, дочек приходится прятать на чердаке, пьяные литвины подожгли сарай, а в ополчении кормят, да оно и далеко от жены. Жена же,

как только муж убежал, тут же спровадила младшую дочку замуж, и новобрачный муж увез их обоих в деревню, где служил боярским приказчиком дальний родственник.

О приказной службе он сказал так: исполнял, что было велено, следил, за кем прикажут, доносил разумно, а когда велели сидеть в приказной избе и переписывать столбцы – сидел безропотно.

Чекмай слушал все это, внимательно глядя на Смирного. Почему тот успешно выслеживал, кого велено, понятно: внешность до того заурядная, что запомнить ее совершенно невозможно. И речь у него, когда трезв, была невыразительна, голос размеренный и тихий. И ростом невелик, и сложение шуплое, по виду – ни дать ни взять приказный крючок, крапивное семя, что за бумагами белого света не видит.

– Стало быть, при поляках ты был в Москве, – сказал князь. – И на недругов наших нагляделся.

– Ляхов видывал, но чаще литвинов... – тут Ермачко глубоко вздохнул. – Черт бы их всех побрал.

– У тебя с ними свои счеты? – спросил Чекмай.

– Свои...

– Говори! Все, как на духу! – вдруг громко приказал князь. И чутье его не обмануло.

Ермачко был по своему нраву послушен, приучен к повиновению, зычный голос заставлял его тут же покориться. Сдается, именно такого повеления он ждал уже несколько лет.

От княжьего приказа словно дверца у Ермачка в душе отворилась, словно слетел с той дверцы замок и хлынуло из души то, о чем даже вспоминать себе запретил.

– Мы отсидеться хотели... Жена, будь она неладна, мою Дунюшку погубила! Твердила, дура: да куда ж мы побредем, да зима, да как свой дворишко бросить, да вернемся ж на пепелище, да перетерпим, да все ж терпят! Жена – тварь богомерзкая! Я спорить не стал – и дурак, что не стал! Дунюшка пропала. Литвины со двора свели, мне потом соседка рассказала. Она кричала, бедненькая, меня на помощь звала, а меня-то дома не случилось, а тварь эта поганая огородами к куме умелась... Чем за дочками глядеть, на двор и их не пускать, – она – к куме!.. И пропала Дунюшка! Старшенькая моя пропала... И тогда я сказал: живи, сволочь, как знаешь, двор со всей рухлядью тебе оставляю и ухожу. Младшенькую, Парашеньку, сам за руку ночью к крестной свел, велел беречь пуще глаза, все деньги ей оставил – и с добрыми людьми в Ярославль подался. А весна, а распутица, а брели по колено в грязи, а оголодали, а я все думал – хоть одного гада убью, за дочку посчитаюсь, хоть одного, хоть одного!..

И Ермачко вдруг разрыдался.

Должно быть, долго себя сдерживал, подумал Чекмай, вот оно и вырвалось на волю. Он видел на войне плачущих мужчин и ничего постыдного в этом не находил: беда – она и есть беда, из всякого слезу вышибет. Он только отвернулся и уставился в угол: так же поступил и князь.

Наконец прерывистые всхлипы кончились. Ермачко тяжело дышал – но молчал.

– Убил? – немного погодя спросил Чекмай. Он и князь терпеливо ждали, пока со Смирным можно будет снова говорить.

Чекмай без лишних слов дал ему платок.

– Не знаю, я при пушкарях был. Все вместе били, там и мои труды... А сам, своими руками, чтобы видеть, как он корчится, – нет...

– Ермолай Степанович, я тебя понимаю, у самого три дочки, – сказал князь. – И я бы за них костями лег. Потом что было?

– Потом – как вошли в Москву, я – к крестной. Она рассказала: моя, как я ушел, сговорила с человеком, он обещал ее и Парашеньку из Москвы увезти и спрятать, а за то ему – дочку в жены. Она и согласилась. Он слово сдержал... Да не такого мужа я бы дочке пожелал.

Он уж в годах. Да и нравом крут. Дочка меня потом нашла, плакалась на плохое житье, а как быть? Уж не развенчаешь!

– Не посчастливилось тебе, Ермолай Степанович. А теперь слушай. Ты нам надобен. Сдается, на Москве остались литвины. Может, иной живет честно, образумился. А иной в Смуту задружился с казацкими шайками, вместе с ними на больших дорогах обозы грабил, теперь же вроде сидит тихо, а сам с теми налетчиками до сих пор дружбу водит. И среди налетчиков есть литвины, сам понимаешь. Ермолай Степанович, ты человек опытный, догадаешься, как оставшихся на Москве литвинов искать? – спросил Чекмай.

– Иного по выговору признать можно. Я их наслушался. Иного – даже по зазнайству. Они это гонором зовут, кричат: мы-де русская шляхта! А иного – у бабы. Они ж тут себе полюбовниц завели. И я про то кое-что знаю.

– Точно... – пробормотал Чекмай. – Княже, он прав. После войны мужиков стало куда как меньше, и бабы за них цепляются, им наплевать, литвин, немец или арап.

– Так, – согласился князь. – Ермолай Степанович, коли хочешь послужить государю, так вот тебе служба – отыскивать тех литвинов, что остались на Москве, все про них вызнавать, но себя ничем не оказывать.

– Желаю, – отвечал Ермачко. – И могу.

– Так. С сего дня ты на моей службе. Соседям, родне, кумовьям про то знать незачем, – сказал князь. – Отправляешься в поиск. На Ивановской скажешь... Чекмай, что бы там лучше соврать?

– Решил о душе подумать и пошел трудником в мужскую обитель, – сразу придумал Чекмай. – Обители после Смуты еще не опомнились, руки там надобны. Может, и впрямь Ермолай Степанович со временем станет иноком.

– Я думал об этом... – неуверенно отвечал Ермачко. – Внуки мои далеко, я их только раза два видел. Тварь негодная – при дочке, не пропадет.

– Будь осторожен. У тебя оружие есть? – спросил князь. – Коли нет – дадим.

– Нож бы хороший не помешал, – деловито сказал Ермачко. – Засапозник-то у меня есть, а мне бы булатное чингалище, я такое видывал. С ним как-то вроде вернее...

– Губа не дура! – Чекмай рассмеялся. – Чингалище будет, у нас такого добра довольно.

Ермачка Смирного оставили ночевать на княжьем дворе – ночью на московских улицах все еще беспокойно. На следующий день его снарядили, и он ушел в поиск. Сговорились так: коли что нужное разведает, оставит грамотку на имя служителя Оружейной палаты Глеба Гусакова у тамошнего сторожа. Лишний раз ему на Лубянке у княжьего двора мельтешить незачем. А место встречи – тот кабак, где Ермачко толковал с Чекмаем, время – как народ к вечерней службе потянется.

Помолившись и поев, князь, Чекмай и Гаврила взялись разбирать приказные столбцы. Нашлись в общих кучах и совсем старые – Гаврила опознал подпись покойного деда на оборотной стороне, в месте склейки. Потом у князя не на шутку разболелась голова, и он пошел прилечь.

Улов был неплохой – челобитные, в которых живописались подвиги Мишуты Сусла и наконец-то в сказках Земского приказа появилось описание его внешности: ростом невысок, в плечах дивно широк, на левой руке недостает двух пальцев, каких именно – неизвестно. Челобитную принял Дорошко Супрыга, причем недавно. Все к тому шло, что нужно искать Супрыгу, который явно знал более, чем в столбцах написано.

– А вот, глянь, дядька Чекмай! Баба поминается, вдова Федорка Антипова дочеришка, Ивановская женишка. И неспроста она в челобитную попала. Погоди... Ее допрашивали, какого человека она видела... не признала... для чего тогда в столбцах поминается? И видела у себя на дворе, и соседи то ж говорят... А, вот! Видела, что на левой руке двух пальцев недостает! Выходит, это она видела! Как же он к ней на двор забрел?

– Может статься, награбленное к ней привозят, чтобы сбывала. Или кого-то из шайки полюбовница.

– Живет тут неподалеку, у Сретенской обители... Дядька Чекмай!

– И думать не смей! Запиши ее, и станем дальше трудиться.

– Дядька Чекмай! – взмолился Гаврила, которому до смерти надоело возиться со столбцами.

– Нишкни! Как бы не вышло, что не ты ее, а она тебя выследила. Гаврила, нам нужны тайные соглядатаи. А вся Москва знает, что ты князю служишь.

Гаврила вздохнул.

– Давай лучше подумаем, как нам Супрыгу сюда залучить.

И Гаврила честно задумался.

– Дядьку Глеба в Земский приказ послать?

– А для какой надобности? Нам нужно под благовидным предлогом выманить Супрыгу туда, где с ним можно для начала потолковать. Хотя бы – сговориться о его встрече с князем. Гаврюшка, не гляди на меня побитым псом. Войну помнишь? Как польского королевича гоняли – помнишь? Так то – проще было.

– Да, вот – мы, вот – они, и тулумбасы бьют ясак большим набатом!

– Да, как грянут, так душа в бой рвется. Не хуже тебя помню. Ну, будет. Ищи, где еще Супрыга обозначился. Не может того быть, чтобы способ не нашелся. Смотри на обороте столбцов! Может, найдется его подпись на склейке. Изучим дело, придумаем подход!

– Дядька Чекмай, что немец говорит?

Немца-лекаря Ягана Шварцкопа позвали к князю, потому что – уже свой, и отзывом тех, кого он пользовал, не требуется.

– А что тут скажешь? Десять ран, одна другой краше. Ты же знаешь, как его полумертвого из битвы на Сретенке вынесли и тайно, на телеге, рогожами укрыв, вывезли к Троице-Сергию. Немец с той поры его помнит. Ну, прописал всякие примочки, сам обещался их составить, микстуру какую-то пришлет. А сказал так: князь может еще и десять, и двадцать лет прожить, а может ему вдруг стать худо, и – со святыми упокой. Так что надобно его беречь. Это и к тебе относится – чтобы ты его всякими глупостями не допекал. Понял?

– Да понял... А княгиню Куракину он смотрел?

Старшая дочь князя, Аксинья, выданная замуж за князя Василия Куракина, уж год как вдовствовала. Здоровья она была слабого и старалась почаще бывать у матери – та и пожалеет, и приласкает.

Чекмай вздохнул.

– Смотрел он ее... Ничего утешительного сказать не мог.

Вздохнул и Гаврила. Он в отрочестве не раз видел княжну, и она ему очень нравилась.

Сейчас она жила в светлицах с младшими сестрами и с княжной Вассой; порой Гаврила, поднимаясь или спускаясь по лестнице, слышал сверху девичий смех или песни. И очень он хотел, чтобы княгиня позволила девицам не только на гульбище рукодельничать, а спускаться в сад. Хоть бы полюбоваться на них, что ли...

Весна не давала ему покоя.

– Так, может, я добегу до Сретенской обители?

– Не добежишь.

Чекмай видел – воспитанник рвется в бой. Хуже того – он и сам в бой рвался.

Изучив здоровенную кучу столбцов, они выписали еще кое-какие полезные имена с пометками. И потом Чекмай сказал:

– Ладно уж, сходи, Гаврюшка, прогуляйся. У меня уж в глазах рябит – и у тебя, поди, тоже. Я – к князю, а ты пройдишь, мать навести, на девок полюбуйся. Весна же, девки нороят

со дворов выбежать, на лавочках у калиток посидеть. За зиму в светлицах дородства нажили, заневестились, заскучали – ну? Ступай!

И замахнулся на воспитанника гусиным пером.

Гаврила расхохотался и выскочил за дверь.

К матери сходить, конечно, следовало. Сестриц увидеть, младшего братца. Узнать, что слышно насчет свадеб. Но пошел Гаврила не в Зарядье, а вовсе в другую сторону – к Сретенской обители. Зачем, для чего? А ноги сами понесли.

Видимо, Чекмай, поднимаясь по узкой лестнице в княжью опочивальню, что-то на расстоянии учуял. И снова подумал о том, что как-то не так воспитал Гаврилу. Тот был при нем добрых двенадцать лет, попал к Чекмаю отроком, ныне – статный молодец, на которого девки заглядываются. Но повторить нрав и хватку Чекмая он не может – то ли порода иная, то ли воспитатель не справился.

Гаврила был мягок и, как полагал Чекмай, умом недалек; какой умишко Бог дал, с таким и живет. В пору Смуты и последовавших за ней событий не до того было, чтобы ему учителей нанимать. Сам-то Чекмай учился вместе с князем. И отсутствие знаний в Гаврилиной голове порой его сильно беспокоило. Хотя – много ли надобно знаний, чтобы мирно жить с женой, заниматься хозяйством да служить в приказе?

Отворяя дверь в опочивальню, Чекмай принял решение: не связывать с Гаврилой никаких особых замыслов, а женить детинушку, пока совсем не одичал, как сам Чекмай, и радоваться всякому прибавлению в его семействе.

В опочивальне сидела рядом с постелью мужа княгиня, держала его за руку. Когда Чекмай вошел, руки разомкнулись. Негоже, чтобы посторонний, хоть и столь близкий князю, видел супружеские нежности.

– Матушка Прасковья Варфоломеевна, – сказал Чекмай. – У меня до тебя дельце.

– Сказывай, – велел князь.

– Невеста нам надобна...

– Господи Иисусе, дожил до светлого дня! – развеселился князь. – Ну, жена тебе сама сыщет достойную невесту и сваху зашлет. На крестины не забудь позвать!

– Да не мне – Гавриле!

Чекмай объяснил: не то чтобы разочаровался в воспитаннике, а просто не желал, чтобы воспитанник, тщаь повторить его жизненный путь, оказался для такого пути слабоват духом.

– Он невесту в каком поколении из подьячих, ну так и служит пусть в приказе. Там ему самое место, – завершил Чекмай. – Может, даже в Разбойном. Он знает грамоте, почерк... ну, почерк уж – какой Бог дал...

– А ты как без него? – спросил князь.

– Там ему быть лучше, чем со мной. Да я ж еще не помираю, будем видаться. Может, в крестные к своему старшенькому позовет.

– Так. Ну, матушка, берись за дело, – велел князь жене. А княгине уже самой не терпелось бежать к домашним женщинам, рассказать новость, затеять военный совет.

– В воскресенье зайди ко мне, – сказала она Чекмаю. – Мои девки тебе рубаху шьют, как раз к воскресенью поспеет. Им княжна Зотова узор показала, они перенимают. Она и сама вышивает – хочет тебя хоть как-то отблагодарить.

Когда княгиня вышла, Чекмай спросил князя:

– Не одобряешь?

– Одобряю, – подумав, ответил князь. – Каждый хорош на своем месте, а занимать чужое – Бога гневить. Присмотрись к моему Фролке. Парнишке, кажись, пятнадцатый год. Шустрый... Все на лету ловит...

Чекмай кивнул. Князь лучше его самого понял, что теперь требуется другу, брату, соратнику.

А Гаврила, понятия не имея, что сейчас решается его судьба, и выйдя за ворота – не главные, а те, что на Лубянку, – огляделся по сторонам и направился к Сретенскому монастырю – словно его туда на веревочке потянули.

Он весело поглядывал по сторонам, и было на что – как и сказал Чекмай, на улицу выскакивали девки, перебегали со двора на двор, только длинные косы металась и подпрыгивали, раскачивались красивые косники, привлекая внимание к девичьему стану. И голоса – голоса звенели, словно опустилась на Москву огромная стая певчих птах – скворцов, зябликов, жаворонков.

Было, разумеется, на Лубянке много иного приятного и полезного – и продавцы сбитня расхаживали, и лоточники, у которых на лотках под чистой холстинкой – разнообразные пироги да калачи, и продавцы свечек со своими коромыслами, на которых болтались связанные фитилями по дюжинам большие и малые свечки. Но Гаврилу более привлекали девки.

У него было любовное знакомство с одной немолодой, лет тридцати с хвостиком, вдовушкой, каких после Смуты появилось немало, а женихов на всех не хватало. Он полагал, что Чекмай ничего про его шалости не знает. Но знакомство недавно, как раз перед отъездом в Вологду, завершилось – вдовушке добрые свахи нашли пожилого, но еще весьма крепкого супруга. И она рассудила, что лучше такой, чем никакого. Гаврила даже не обиделся. А что обижаться? Жениться-то он не собирался.

Он шел просто так, без особой цели, поглядывая на девок, дошел до забора Сретенской обители, повернул налево, попал в переулочек. А там, в переулочке, сбежалась стайка девок и молодых женок. Встав перед воротами они, сговорившись, закричали дружным хором:

– Фе-до-руш-ка! Фе-до-руш-ка!

Что-то словно щелкнуло в Гаврилиной голове.

Он за последнее время перелопатил здоровенную кучу приказных столбцов, и в одном точно имелось это бабье имя – Федорка. Но чем оно могли привлечь внимание?

Гаврила остановился, производя в памяти раскопки. Девки меж тем продолжали звать подружку.

Калитка распахнулась, выбежала молодая смеющаяся женка, придерживая убрус на голове. Она летела, почти не касаясь земли ногами в красных ичедыгах; летела, как лепесток, спорхнувший с ветки; летела, как подхваченный ветром мотылек. Подружки поймали ее, увлекли за собой и понеслись, голосистые и быстроногие, по переулку.

А Гаврила остался стоять, разинув рот и утратив всякое соображение.

## Глава пятая

Человек, носивший для него самого загадочное прозвание «Бакалда», лежал в постели и при каждом движении охал. И отец его был Бакалда, и дед, а глубже он не заглядывал.

Рядом сидела его матушка и обливалась горькими слезами.

– Я уж всюду челобитные снесла, – плача, говорила она, – и в Стрелецкий приказ, и в Земский, и в Разбойный!

– В Разбойный-то для чего?

– Так он-то, Бусурман, сущий разбойник!

Бакалда не стал называть родную матушку дурой, хотя стоило бы. Разбойный приказ ведаёт грабежами и смертоубийствами за пределами Москвы, а стычка Бакалды с Бусурманом случилась посреди Москвы, в Рядах, а именно – у каменных лавок Седельного и Саадачного рядов. Виной всему был бестолковый приказчик. Павлик вздумал купить себе новую берендейку. Эта кожаная перевязь через левое плечо, к которой подвешена дюжина прекрасных точеных деревянных зарядцев для пороха, обтянутых красной кожей, с красным же кошельком для пуль и фитиля, должна была стать его гордостью и предметом зависти товарищей по стрелцкому полку. Берендейку Павлик присмотрел еще вчера, но решения не принял, а с утра понял, что без нее и жизнь не мила. Но точно то же пришло на ум стрельцу Тишке Бакалде.

Дружбы меж обоими стрельцами особой не было, но и мордобития тоже. И вот чуть ли не лбами столкнулись возле той щегольской берендейки. Приказчику бы сказать, что она уж обещана либо одному, либо другому, либо вообще кому-то третьему, но он по дурости этого не сделал, и стрельцы схватились драться. Бакалда – высок и дороден, Бусурман тонок и верток, и он, не полагаясь на кулаки, которые против Бакалдиных кулачищ – как яблочко против астраханского арбуза, исхитрился охотничьей ухваткой поймать противника за руку и кинуть на прилавок. Так кто ж знал, что у Бакалды ребра такие хилые?..

Кончилось все это очень плохо. Бакалда был в Стременном полку знаменщиком, когда государь выезжал – он торжественно нес перед стрелецким строем тяжеленную шелковую хоругвь, Бакалдой начальство гордилось. А за Бусурманом уже числились всякие проделки. Вот его и турнули из полка. Князя Черкасские же не заступились – по той простой причине, что им уж надоело заступаться. Хотя служба в стрельцах считалась пожизненной, но вот именно Бусурману не повезло.

Павлик побежал к знакомым подьячим Земского приказа, для которых немало потрудился. Ему сказали: ты что, не знаешь, что мы для своих дел берем, когда надобно, полковых стрельцов, а ты теперь кто?

Как и полагается русскому человеку – а Павлик считал себя безупречным русским, – Бусурман с горя запил. Пил три дня, пропил многое, осталась старая берендейка, с ней он и шатался из кабака в кабак, чтобы все видели – стрелец идет!

А потом, когда Чекмай и Гаврила притащили его на речной берег и вылили ему ведро воды на голову, Павлик вдруг осознал, что стрельцом он не будет уже никогда. И избавился от берендейки вместе с рубахой.

Потом его куда-то вели, где-то спать положили, укрыв рядниной, он проснулся, под ноги подвернулась какая-то лестница, он куда-то попал, там его били, и тогда он протрезвел окончательно.

Его изгнание со двора сопровождалось громоподобным голосом:

– Вычеркиваем из списка – и пусть катится на все четыре стороны!

Оказавшись на улице, Павлик некоторое время стоял, прислушиваясь к себе и осознавая мир заново. Все было более или менее понятно, кроме списка. И он ощутил обиду: из полка выгнали, побили, без рубашки почему-то остался, так еще и вычеркнули из какого-то списка!

Именно это ему вдруг захотелось понять.

Когда со двора вышли Чекмай и Гаврила, Павлик пошел следом. Приставать к ним посреди улицы не стал, а решил сперва сообразить, что за люди. Обнаружив, что это люди князя Пожарского, он подумал, что список-то не простой. Ломая голову, как бы с ними потолковать, Бусурман крутился вокруг княжьего двора, полагая, что его заметят, поймают и приведут, может, даже к самому князю.

Разговор с Чекмаем был краток. Павлик понял, что этот человек при князе – не из последних. Когда для испытания Чекмай велел сыскать Мамлея Ластуху, Павлик сперва подумал – это чтобы от непрошеного помощника отделаться. Но он был упрям. К тому же, ему доводилось участвовать в засадах и выемках Земского приказа, кое-что он в розыске уже смыслил.

Имечко «Мамлей» явно было татарское. Татар на Москве множество – пойдешь в Замоскворечье, и поблизости от Крымского двора, в Татарской слободе, найдешь любых, и крымских, и казанских, и ногайцев, которые тоже вроде бы родня татарам. Мало ли, что человек с лица не похож на татарина? Вон крымский на того, чей дед прибежал на Москву после разорения Казани, тоже не больно похож... А сам себя в татарах числит и даже с гордостью говорит: мин татарча!

Но идти туда полуголым, пожалуй, не стоило. Павлик направился домой, в стрелецкую слободу у Тверской дороги – он снимал угол в горнице у почтенного пожилого семейства, другой угол снял пономарь Никодимка, из поповичей, служивший в храме святого Димитрия Солунского. Там он, перепугав хозяев, решивших, будто его среди бела дня ограбили, достал из сундука чистую рубаху, достал зипун и оделся, как подобает.

Хозяйка, заботливая старушка, пригласила его к столу. И там Павлик начал свой розыск: спросил хозяина, как бы поскорее найти в Москве человека со странным прозвищем Мамлей Ластуха.

– Ластуха? – переспросил озадаченный хозяин. – А это, поди, надобно спрашивать у купцов, что зерном торгуют. Они везут зерно водой и в Москву, и в Холмогоры, где сдают заморским купцам. Они ластами зерно меряют.

– А сколько это? – спросил Павлик.

– Да пудов сто двадцать будет.

– За что ж человека могли так прозвать?

Стали судить да рядить. Сошлись на том, что Ластуха – непременно силач, который сто двадцать пудов вряд ли поднимет, а шестипудовый мешок запросто на судно по сходням взнесет.

На кой Чекмаю понадобился силач, когда на княжьем дворе среди строителей хватает мощных молодцов, Бусурман понять не мог. И спросил про Мамлея.

– Имя точно татарское. Знал я одного Мамлея, – сказал хозяин, – так он имечком гордился, сказывал, означает «самый пригожий».

Павлик задумался – на кой Чекмаю пригожий татарин? В силаче хоть есть какой-то смысл.

– А как сыскать твоего Мамлея? – на всякий случай спросил он.

– До Смуты он на Торгу москательным товаром торговал. А теперь – Бог его душу ведает. Даже не знаю, жив ли.

Для начала и такое сойдет, – подумал Бусурман.

Он был человеком своеобразным: сперва натворит бед, свернет кому-либо нос на сторону из-за сущего пустяка, а потом очень изобретательно из неприятностей выкарабкивается. Так было до сей поры – пока князьям Черкасским его подвиги не осточертели. И ведь не дурак был этот Павлик, все понимал, а как кровушка вскипит – так рассудок и прячется в какой-то закоулок души, сидит там безмолвно, а вылезает, когда дело сделано, враг весь в кровавых соплях или же орет благим матом, потому что ловкой хваткой рука из плеча вывернута. Уже старый

Юмшан Мордаш, учивший его охотничьему бою, не раз ему за такую горячность выговаривал. Но Бусурману отчего-то казалось, что всегда ему любые проказы сойдут с рук. Оказалось – не всегда...

А на что-то же жить надо!

Он сообразил, что раз Чекмай – из людей князя Пожарского, то и загадочный Мамлей Ластуха, скорее всего, нужен как раз князю. А если оказать услугу такому человеку – так ведь можно к нему прилепиться и из его рук хлеб есть!

Так что направил стопы Павлик в Москательный ряд, что неподалеку от Варварского крестца. Там он первым делом расчихался – так благоухали пряности и душистые масла. Приказчики вспомнили Мамлея – тот погиб в Смуту. Но сказали, что есть другой известный им Мамлей – держит торговлю в Мыльном ряду. Бусурман пошел в Мыльный ряд и обнаружил там Мамлея Кроху. Тот очень удивился таким поискам и направил Павлика в Красный Сапожный ряд – там был Мамлей, привозивший дорогие и очень красивые сапоги казанского дела. Этот оказался Мамлеем Бахтеяровым. И так Павлик обошел чуть ли не все ряды – и зря потратил время. А времени ему на поиски Чекмай отвел не так уж много.

В Хлебном ряду у Ильинского крестца он оказался, когда уже торговля сворачивалась. Тамошний Мамлей сказал, что прозвище получил от мамки-татарки, а сам он – Тимоха Сухой-Заколоток, и отец также был Сухой-Заколоток, а что сие означает – неведомо.

– У нас в ряду еще два Тимохи, так прозвище мне полезно, люди знают, кого спрашивать, – объяснил Сухой-Заколоток. И тут к ним подошел человек в бурой однорядке и буром войлочном колпаке, сутуловатый, глядящий не в лицо собеседнику, а мимо либо же себе под ноги. Человек сказал Мамлею, что на него указали добрые люди, утверждая, что он сдал половину своего домишки некому Войку Пшонке.

Павлик этого человечка знал – встречал в Земском приказе. Только вот прозвание никак вспомнить не мог.

– Войко Пшонка точно у меня жил, а потом женился и ушел жить к жене. Это где-то у Никитских ворот, – сообщил Мамлей. – Но ты с ним будь поосторожнее. Он человек опасный. Он на меня как-то с ножом кидался, так я соседа кликнул, мы его со двора согнали. Потом прощения просил, а вскоре после того ушел.

– Каков он из себя? – спросил унылый человечек. – Есть ли примета?

– Примета есть – но он ее под колпак обычно прячет. У него одна прядь седая. Волосы темные, а посреди башки седая прядь.

– А иные приметы?

Мамлей задумался.

– Пятно! – вдруг вспомнил он. – На левой руке красное пятно, как лягушка!

Сухой-Заколоток пальцем нарисовал на своей кисти растопыренную лягушку, в длину и в ширину чуть поболее вершка.

– И дурень же я, – вдруг спохватился он. – Вот додумался – гада на себе показывать! Господи, спаси и сохрани!

– Как лягушка... – повторил человечек.

И вроде безразличным, тусклым голосом повторил, а Павлик насторожился. Он и сам бы не мог объяснить, что его обеспокоило, однако ощутил тревогу. Что-то с той лягушкой было не так.

– Прозвание диковинное – Пшонка, – сказал Павлик Мамлею, когда человечек отошел.

– Литвинское, он же литвин, – объяснил Мамлей. – После Смуты на Москве застрял. Прости, добрый человек, не до тебя сейчас.

И Бусурман тоже пошел прочь. В голову словно кол воткнули – он мучительно пытался вспомнить имя приказного, что искал литвина Пшонку. Да и неудивительно – они там встре-

чались добрых четыре года назад. После чего Павлик видел человечка на Ивановской – при площадных подьячих, сдается. Имя он знал! Но оно вылетело из головы.

Как-то само получилось, что Павлик двинулся следом за временно безымянным человечком. А на ходу он обдумывал дальнейшие поиски Мамлея Ластухи. То, что он сразу не нашелся в Рядах, конечно, прискорбно. Однако есть и другие способы.

Ластуха мог служить купцу, торгующему зерном. Такой купец в Рядах, понятное дело, не сидит. У него амбары. И амбары, возможно, недалеко от реки, потому что немалую часть урожая привозят водой.

Вокруг зерна было тогда немало суеты. Даже при хорошем урожае его недоставало – еще только подрастали в деревнях парнишки, которые должны были заменить в поле погибших в Смуту отцов. Да и лошадей было мало – случалось, в соху впрягались женки и подростки. Размышляя об этом, а также перебирая в памяти имена купцов, что, кажется, были закупщиками зерна, Бусурман шел следом за скорбным человечком, ибо – не стоять же на месте.

Тот шагал удивительно скоро, явно спешил, и длинноногий Павлик также невольно ускорил шаг. Это, как ни странно, способствовало быстроте мысли. Однажды стрельцы сопровождали подьячих Земского приказа при выемке, производимой в жилище купца, как бишь его, и откопали в сарае за дровами старое изголовье, в том изголовье – множество дорогих вещей. Купец клялся и божился, что вещами с ним расплатились за хлеб еще в голодную пору, до Смуты и до того, как царь Борис, желая прокормить Москву, велел все запасы зерна свозить в столицу. Купец, как бишь его, успел нажиться, принимая от оголодавших людей в уплату дорогие камни и даже золотые кресты-тельники, а кое-кто из духовного сословия, не желая видеть, как страдают животами от лебеды его малые детки, снес тайно к купцу, как бишь его, даже церковные сосуды. Царская затея, впрочем, добром не кончилась – в Москве стали продавать зерно из государевых житниц беднякам вдвое дешевле назначенной Борисом цены, вдовам же, сиротам и иноземцам раздавали бесплатно. И в Москву хлынул голодный люд чуть ли не со всего царства. Пришлось закрыть городские ворота, и дороги были усеяны трупами тех несчастных, кому пришлось возвращаться домой, что называется, не солоно хлебавши. Купец, как-бишь-его, не слишком веря царю Михаилу и патриарху Филарету, приберегал ценности на черный день – это его и сгубило. На него донесли – и, хотя при розыске явилось, что среди сокровищ нет тех, что были недавно похищены налетчиками у пострадавших людей, добрая их часть ушла на то, чтобы откупиться от приказных.

– Облоухов! – воскликнул Павлик. Именно таково было прозвание того купца. Артемий Облоухов, да и выемку делали где-то неподалеку.

Теперь он шел за странным человечком уже не потому, что ноги сами несут, а с целью: вспомнить, где тот купецкий двор. Тогда, помнится, заходили со стороны Шереметевского переулка...

Погруженный в воспоминания, Павлик не обращал внимания на девок и женок, которые на него поглядывали. К завлекающим взглядам он уже привык – да если каждой отвечать на взор, да идти за ней следом, да оказываться с ней в укромном уголке, так очень скоро станешь вроде блудливого кота, который ранней весной уходит со двора свататься и жениться, а возвращается на двор хорошо коли к Радонице, отощавший, с порванным ухом и чуть живой.

Унылый человечек остановил прохожего, спросил, где тут стоит Войко Пшонка, тот не знал. Человечек спросил второго, третьего, четвертого прохожего.

Пятый воскликнул:

– Да вон же он! Вон, вон! С телегой поравнялся!

– Спаси тя Господи, – отвечал человечек и устремился к Пшонке, шаря при этом под полый однорядки.

Очень это Бусурману не понравилось.

Как с ним часто случалось, он вдруг перестал думать и начал действовать, совершенно не беспокоясь о последствиях. И оказался возле человечка с Пшонкой, опоздав на одно-единственное мгновение. Человечек действовал стремительнее, чем можно было бы подумать на него глядя. Он быстро подошел к Пшонке, заступил дорогу и без единого слова вогнал тому в брюхо нож.

Пшонка упал, согнувшись в три погибели. Человечек стоял над ним, глядя сверху вниз, спокойный, словно и не он совершил убийство. Прохожие, что остановились неподалеку, даже не поняли, что тут произошло, ведь миновало время, когда людей на улицах резали.

Бусурман схватил человечка за плечо, развернул к себе и сказал одно-единственное слово:

– Бежим...

– Нет, – отвечал убийца.

– Уносим ноги...

И Павлик, схватив его за руку, потащил за собой, сам не ведая куда.

Пока прохожие подходили поближе к лежащему Пшонке, пока уразумели, что стряслось, пока одни кричали «караул», а другие сдуру пытались вытащить из мертвого тела нож, Павлик уволок убийцу сажень на дюжину и по наитию толкнул в попавшуюся на глаза калитку.

Они оказались во дворе, где бабы, натянув веревки, вешали на просушку большие простыни.

– Это славно... – прошептал Павлик и под прикрытием сушившегося белья потащил убийцу дальше наугад. Они уткнулись в забор, пошли вдоль забора, нашли другую калитку, попали в другой двор.

Убийца сперва пробовал отбиваться, потом просто позволял руководить собой, не произнося ни слова.

Они оказались возле чьей-то летней кухни, перебрались через едва покрывшиеся травой грядки, вывалились через открытые ворота в неведомый переулок.

– Ну, кажись, ушли, – сказал тогда Бусурман. – А я тебя знаю. Ты в Земском приказе служил.

– Да. Служил.

– Раза два вместе на выемку ходили.

– Ходили, – повторил убийца, не вкладывая в слово ни малейшего смысла.

– За что ты его?

– Было за что.

– Теперь куда?

Павлик как-то сразу поверил убийце. Тот не был похож на безумца или на запойного питуха, который спяну на людей с ножом кидается.

– Не знаю. В Земский приказ, должно быть...

– Вот дурак. Никто же тебя не разглядел, никто на тебя не покажет.

– Я то совершил, что должен был совершить. Теперь пусть судят, – сказал убийца. – А мне уж все равно.

– Так я понапрасну тебя спасал?

– Понапрасну.

– Диковинное дело...

Павлик уже малость опомнился. Его почти не удивил собственный порыв спасти убийцу от толпы и от караула. Он, как это с ним часто бывало, доверился не рассудку, а душе. Душа же сказала: такой странный и скорбный человечек не потому ткнул ножом Пшонку, что более делать было нечего. Он признавал приметы, услышал про лягушку на руке и опознал в Пшонке давнего врага. А литвины в Смуту немало зла здешним жителям содеяли.

Все это подумалось Павлику, когда он сам себе пытался объяснить свой поступок.

– Слушай, добрый человек, – сказал убийца. – Коли хочешь совершить хорошее дело, ступай, Христа ради, на Лубянку, там всякий покажет двор князя Пожарского. Спроси Чекмая...

– Чекмая?!

– Да. И все ему расскажи. Передай – Ермачко Смирной прощения просит, что не смог послужить, а из беды его выручать не надобно, он сам разумел, что делает.

– Точно, Смирной! – вспомнил Павлик. – А я – Бусурман. Ты должен меня помнить! Слушай, Смирной, я Чекмая сыщу, все расскажу, но он мне непременно прикажет тебя привести. Давай сговоримся так. Я – на Лубянку, а ты – вон в ту церковь Божию, не знаю, в честь кого поставлена. И там меня жди, понял? Иначе князю придется ради тебя Земский приказ беспокоить, а у него других забот хватает. Жди, понял! А коли до конца вечерней службы за тобой не приду – так ступай хоть в Земский приказ, хоть в баню на Язуе! Уразумел?

– Уразумел...

## Глава шестая

Увидев Бусурмана, Чекмай удивился:

– Ты что ж, так скоро Ластуху сыскал?

– Не Ластуху, я Ермачка Смирного сыскал. Пойдем во двор, я тебе в воротах ничего сказывать не стану.

– Ну, пойдем.

Узнав, что натворил Ермачко, Чекмай почесал в затылке.

– Вот чуяло же мое сердце – от него только и жди подвоха... За дочку посчитался, и не побоялся ведь... Ладно. Сам я решать не стану, пойдем к князю. Убийство – дело такое... сам понимаешь...

Князя пришлось ждать – у него снова сидел немец-лекарь. Они неторопливо беседовали – и не только о врачевании. Герр Яган Шварцкоп как приехал в Московию лечить варваров при царе Борисе, так там и осел. В первую же зиму оказалось, что варвары умеют лучше образованных людей одеваться в мороз, и герр Яган завел себе длиннейшую шубу, к ней – теплый меховой колпак, теплые высокие, по колено, сапоги на меху. Потом же он и вовсе стал одеваться на московский лад, купил кафтаны, однорядки, порты, вышитые рубахи. Когда же он перестал брить бороду и бойко заговорил по-русски, его стали звать во все богатые дома. Это его спасло в Смуту – когда купцы целыми обозами убежали в Вологду, то и его с собой прихватили. До Вологды он, впрочем, не доехал. Помотало герра Ягана, ставшего в конце концов Иваном Ивановичем, изрядно, а с князем он познакомился при диковинных обстоятельствах.

Когда первое ополчение, которое вели воеводы Ляпунов, Репнин и Пожарский, с ратниками, пришедшими из многих городов, подступило к Москве, московские жители взбунтовались против ненавистных ляхов. Улицы завалили санями с дровами, скамьями, бревнами, по захватчикам стреляли с крыш. Ляхи, отбивались, нашли способ сладить с русскими – они подожгли город. Ополченцы поспешили на помощь посадским жителям, начались уличные бои. Князь Пожарский со своими ратниками бился возле своего подворья на Лубянке, весь день бился и был несколько раз ранен. Когда стало ясно, что придется отступить, соратники тайно вывезли князя на телеге, укрыв рогожами, в Троице-Сергиеву обитель. Там неисповедимыми путями оказался Яган Шварцкоп и был приставлен к раненому. Сам он потом по всей Москве похвалялся, что вытащил князя с того света.

Так что беседа у них, немца и князя, случилась долгая – было что вспомнить.

Павлик сильно беспокоился – если Ермачко его не дождетя, то пойдет отдаваться служителям Земского приказа. Но немец ушел, и князь принял Чекмая с Бусурманом.

– Стало быть, мне теперь решать судьбу этого бесноватого? – спросил князь, когда Павлик доложил про убийство. – Чекмай, что скажешь?

– Скажу так – он по приметам опознал одного из тех литвинов, что свели со двора и, статочно, погубили его дочку. Писать челобитную он не стал – он же приказный, знает, что такие дела могут долго тянуться, а Пшонка, поняв, что над ним тучи сгустились, попросту убежит. И вот я думаю – раз уж Пшонка мертв, так нельзя ли из того извлечь какую ни есть пользу?

– Ты про что? – удивился князь.

– А про то – на его отпевание и похороны сбредутся прочие литвины...

– Истинно так! – князь повернулся к Павлику. – Быстро доложи, кто ты таков.

Бусурман посмотрел на Чекмая.

– Он из стрельцов, употреблялся в делах Земского приказа, прочее потом доложит, – сказал Чекмай. – Сейчас же...

Он замолчал, продумывая решение.

Павлик смотрел на него с надеждой. Ведь может, поблагодарив, выпроводить из княжских палат, а за Ермачком отправится сам с княжскими дворовыми. И – все... Ведь найти Мамлея Ластуху за оставшиеся два дня вряд ли возможно.

А Чекмай смотрел на Павлика.

Он видел перед собой бойкого и сообразительного молодца, с виду – девичью погибель. Если забыть обстоятельства их первой встречи – то впечатление весьма приятное.

И еще он увидел в глазах Павлика надежду.

Пожалуй, стоило попробовать этого человека в деле...

– Сейчас, может, нам послужит – я его еще испытаю. Ступай, Бусурман, за Смирным, с тобой пойдет Дементий. При нужде – вдвоем отобьетесь. Приведите этого раба Божия тайно, задворками. Дементий знает – как. И тогда буду с тобой разговаривать, – сказал Чекмай. И сам, спустившись к подклету, где жил Дементий, вызвал молодца и велел сопровождать Павлика. Из оружия позволил взять с собой кистень.

Потом Чекмай вернулся к князю.

– Не понравился мне твой Бусурман, – проворчал князь.

– Он и мне при первом знакомстве не понравился.

– Так что же? Для чего он тебе? Для чего тот, кто убийцу от Земского приказа спасает?

– У него, сдается, нюх. Он как-то догадался, что в этом деле за убийцей – правда. Хотя он горяч, это и по роже видно. Однако... однако...

– Ты оправдываться вздумал?

– Нет, княже. Просто я с сего дня – за него в ответе.

– Будь по-твоему...

– В том деле, что мы затеяли, нам не ангелы надобны и не праведники...

– Так-то оно так...

Это не было спором – каждый сказал, как мыслит, и продолжать не стали; продолжение сама жизнь покажет.

Потом князь пошел в крестовую палату – помолиться на сон грядущий, а Чекмай обошел двор, убедился, что все в порядке, кому надо – те на страже. Он заглянул и в чуланчик, где ночевал Гаврила.

Княгиня взяла к себе двух сенных девок, служивших Зотовым, но девки еще не поняли, что на княжьем дворе шалости сурово пресекаются. Чекмай боялся, что застанет у Гаврилы одну из них, и придется принимать строгие меры. Не к Гавриле – его дело молодецкое, а к девке, забывшей про стыд.

Воспитанник оказался один и спал. Чекмай разбудил его.

– Прости – может статься, твоя помощь потребуется.

Имелось в виду: когда придет Бусурман, один или с Смирным, неизвестно, как повернется разговор, и не пришлось бы Бусурмана выпроваживать со двора. А это лучше делать в четыре руки.

Очень скоро в горницу, которую взял себе Чекмай и где сидел с Гаврилой, заглянул Дементий.

– Я привел их. Сюда впустить?

– Впускай. Сам пока побудь в сенях.

Вошли Бусурман и Ермачко Смирной. Бусурман – гордо, как полагается вышагивать по двору крупному и охраняющему хохлаток петуху. Ермачко же – понуро, глядя себе под ноги.

– Что ж ты, Ермолай Степанович? – спросил Чекмай.

– Прости Христа ради, не сдержался... В голову ударило... И нож твой загубил...

– Ножей у меня в хозяйстве довольно. И что – ты всегда таков? Как что придет в голову – так тут же, не рассуждая?..

– Нет... Я тихий...

– Хорош тихий! Бусурман, за вами от церкви никто не увязался? Не больно-то хочется, чтобы в наши дела вмешался Земский приказ.

Если бы Павлик ответил «почем я знаю», тем бы и кончилась его служба князю Пожарскому. Но он сказал:

– Нет, я нарочно приотстал, чтобы убедиться.

– Так... И что ж нам теперь с тобой делать, Ермолай Степанович? – спросил Чекмай.

– Что угодно... Мне уж все одно...

– А скажи, Ермолай Степанович, откуда ты знал, что у твоего врага на руке – красное пятно?

– От соседки, она все видела, пряталась на чердаке. Она его, того Пшонку, и раньше видела. У нас по соседству жил литвин, так Пшонка к нему захаживал.

Чекмай задумался. Нужно было принять решение.

– Про других иродов она тоже сказала? Их же, поди, было трое либо четверо.

– Одного по имени назвала. Того, соседа...

– И как же ирода звать?

– Адамка Руцкий. Я его искал, да он куда-то сразу перебрался, след потерялся.

– Адам? Вот уж точно не православное имя. Праотец Адам, про него и малые дети знают.

Потому, поди, и запомнилось, – сделал вывод Чекмай. – Приметы были?

– Брюхо знатное. И нос – как шило.

– Соседка жива?

– Жива. Кто на Москве Смуту пережил...

– Тому сам черт не страшен, – завершил Чекмай.

Во время этой беседы Павлик стоял подбоченясь. Он не стал вмешиваться, а гордо ждал, пока о нем вспомнят.

– Ну, Бог с тобой, Ермолай Степанович. Я тебя спрячу. Будешь жить тут, пока не станет понятно – опознал тебя кто, когда ты своего Войка Пшонку ножом ткнул, или Бог милостив – того не случилось. Климка! Я знаю, ты там у двери сидишь, заходи.

Подручный Чекмая Климка вошел.

– В том доме, где я друзей угощал, уже несколько горниц пригодны для жилья. Возьми сенник, набей его сеном, устрой там нашего гостя, дай чем укрыться. Будешь о нем заботиться, еду ему с поварни приносить. А ты, Ермолай Степанович, сиди там тихо, как мышь под веником, грехи замаливай. Со двора не смей уходить. Авось обойдется...

Ермачко молча поклонился и покорно ушел вместе с Климкой.

– Еще не опомнился, – заметил Чекмай. – Как бы у него ночью покаяние не началось. Хоть тот Пшонка и был сукин сын, однако ж – кровь...

– Дозволь откланяться, – сухо сказал Павлик. – Мне про Смирного толковать недосуг. Мне завтра спозаранку Мамлея Ластуху искать.

– И где ж будешь искать?

– Ластуха, статочно, прозвище крепкого молодца. Пойду к купцам, что зерном торгуют. Они сильных молодцов нарочно ищут.

– Не ходи к тем купцам, зря время потратишь. Мамлей Ластуха – ростом вершка на полтора пониже тебя и, насколько я знаю, отродясь мешков с зерном не ворочал. Прозвание, видать, унаследовал от батюшки. А разведай, кто приводит обозы из сибирских украин. Может статься, его нанимают, чтобы он был при обозе.

– Благодарствую.

Павлик поклонился и пошел прочь.

– Да постой ты! Я ж тебе еще и доброго слова не сказал за то, что ты выручил Смирного! – воскликнул Чекмай.

– Считаю, что сказал, – вполоборота отвечал Бусурман.

- Где тебя при нужде искать?
- Сыщу Ластуху – сам приду.
- Экий ты норовистый.
- Таким матушка родила.

С тем Павлик ушел, а Чекмай стал собираться. Снял зипун, натянул кольчугу, поверх нее – короткий кафтан. Потрогал рукоять засапожника, поправил свисавшую на голенище кисточку. Взял в левую руку деревянную рукоять летучего кистеня. Спустился во двор и, предупредив сторожей, направился в гости.

Ульянушка и Глеб не удивились позднему гостю, они не первый год знали Чекмая. Но удивление все же было, и немалое, когда он попросил Глеба с утра сбежать в Иконный ряд и выменять там большой старый образ «Житие Алексия, человека Божия».

– На что тебе старый? – спросил, зевая, Глеб. – Ведь не в подарок же. Я тебе, коли хочешь, новый напишу.

– Новый писать долго. А ты мне старый понови. И возьми самый большой, чтобы клейма были немалые. Чем больше – тем лучше.

– Так тебе, поди, церковный образ нужен, – развеселился Глеб и руками показал величину иконы. – В Иконном ряду попадаются старые, из разграбленных церквей. Такой, что ли?

– Такой. Потом, когда нужда в нем отпадет, пожертвуем в храм.

– Ладно. Завтра сыщу. Да на что тебе?

– Для дела. Да ты и сам мне надобен. Когда за тобой пришло, скажешься больным.

– Что ты затеял, дружище?

– Хочу пригласить тебя на похороны.

– Господи Иисусе!

– Рад был бы обойтись без таких ужасов. А надо. И князь будет тебе благодарен.

– Так это для князя?

– Да.

Глеб вздохнул.

– А теперь отпусти душу на покаяние. Спать хочу – сил нет. Прошлой ночью наш младшенький расхворался, чуть не всю ночь на руках держали.

Ульянушка при мужской беседе не присутствовала, ушла в опочивальню. Она тоже минувшей ночью почти не спала. Когда явился, посмеиваясь, Глеб, она поняла – опять Чекмай что-то дивное затеял.

– Куда зовет? – спросила она.

– А на кладбище!

Глеб подошел к кровати, на которой спали трое сыновей, прислушался к дыханию, потом ушел за крашенинную занавеску, лег рядом с Ульянушкой, они привычно обнялись.

– Если ты завтра с утра хочешь пойти на Торг, так я – с тобой, – сказал он. – Только спозаранку. И есть ли у нас в хозяйстве большой чистый мешок?

– Мешок нам нужен. Так мы за ним, что ли, пойдем?

– И за ним тоже...

Глеб поцеловал жену, и они заснули.

Утром Ульянушка очень удивилась, когда муж, после покупки мешка, привел ее в Иконный ряд и принялся искать старый образ «Житие Алексия, Божия человека». Ему предлагали новенький – не взял, сказал, что нужен как раз древний, и чтобы большие клейма, не менее шести. Наконец этот удивительный товар сыскался – и Глеб выменял его, дав шесть алтын.

– Более не стоит, он же весь разохся, – сказал он продавцу. – Его поновлять – немалый труд.

Ульянушка молча глядела, как Глеб засовывает приобретение в мешок.

– Ты в палату возьмешь, или мне домой отнести? – спросила она.

– А отнеси, коли не трудно.

– Что и когда мне для тебя было трудно? Помнишь?

Он помнил, как совсем юная Ульянушка ради него сбежала из родительского дома и как они, полуголодные, пробирались в Вологду, неся на себе все свое скромное имущество.

– Ты же знаешь, – ответил он.

– Знаю.

Через два дня сторож, состоявший при Оружейной палате, принес Глебу такую записку: «Завтра спозаранку ты скорбен брюхом. К началу службы будь у Никитского храма».

Подписи не было. Чекмай знал, что Глебу известен его почерк.

Готовясь к похоронам Пшонки, он велел привести Ермачка Смирного.

– Если увидишь еще кого из тех, о ком знаешь, что он с товарищами твою дочку увел, что делать станешь?

– Я только про Пшонку знал – то бишь, знал приметку. Я-то при том не был... Не то бы...

– Не то бы ты тут не стоял, а в сырой земле давно лежал. Я так понял, что у тебя в соседстве жили литвины.

– Один точно жил, но его убили, когда войско в Москву входило.

– Это славно... Стало быть, нет на Москве литвина, который мог бы тебя опознать? – спросил Чекмай.

– Может, и есть, их там много бегало. Может, приметили, запомнили...

– Ты не красная девка, чтобы тебя примечать. Ермолай Степанович, ты мне для дела надобен. Ты, служа в Земском приказе и ходя со стрельцами на выемки, ухваток полезных, поди, набрался. Пойдешь со мной на похороны твоего Пшонки.

– Не пойду! – вскрикнул Ермачко.

– Да что ты орешь? Он из гроба уж не встанет. Пойдешь и будешь следить за людьми, которые у гроба соберутся. Я же буду поблизости и чудить тебе не дам. Все. Я так велю.

Ермачко Смирной с юных лет был приучен повиноваться. Причем всякому, кто гаркнет погромче. И Чекмай это понимал.

– Скажу Сидоровне, пусть откопает для тебя в сундуках иную одежду и колпак. Ступай, потом позову.

Выпроводив Смирного, Чекмай стал думать – кого бы еще взять на похороны. У него на примете был состоявший при нем для услуг шустрый молодой Климка, был старый опытный дед Федот Иванович по прозванию Корноух, вместе с которым воевали; Федота пристроили в должность истопника. Был еще истопник Поздей, тоже надежный...

Тут Чекмай опомнился. Если увести на похороны всех истопников – кто останется в хоромах княгини и княжон? Дворовых туда пускать нельзя – только тех, кто воистину заслуживает доверия.

Так что взять он решил Смирного, Климку, Глеба, Дементия, Гаврила тоже мог пригодиться. Но поди знай, сколько литвинов сбежится на похороны.

– К твоей милости тот человек, что Смирного приводил, – сказал, заглянув в дверь, Климка.

– Впускай.

Вошел Павлик.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что нашелся Мамлей Ластуха? – недоверчиво спросил Чекмай.

– Сойди во двор, увидишь.

Чекмай не сошел – сбежал. Очень хотелось поскорее увидеть старого боевого товарища. И замер на последней ступеньке.

Бусурман указал на двух мужчин, торчащих у крыльца. Боевого товарища среди них не было.

– Вот тебе один Мамлей Ластуха, – сказал Павлик. – Найден у Варварских ворот, служит сторожем у попа. Вот тебе и другой Мамлей Ластуха. Сей – перевозчик, возит на лодке людей и грузы по Яузе в Замоскворечье и обратно.

– Батюшки-светы, а я-то думал, что на всю Москву один лишь Мамлей Ластуха и есть.

– Ластух я нашел четверых, могу еще поискать. Мамлеев в Рядах тоже немало, – доложил Павлик.

– Батюшки-светы... – повторил ошарашенный Чекмай. – Простите, люди добрые, Христа ради, что вас понапрасну побеспокоили. Климка! Принеси два лоскута бумаги! Сейчас отблагодарю за беспокойство...

И тут раздался громовой хохот.

Лишь один человек в мире умел так хохотать! И он сейчас прятался под крыльцом.

– Ах ты ж негодник! – заорал Чекмай, за руку вытаскивая оттуда счастливого своей проделкой товарища. И они крепко, крепче не бывает, обнялись.

Павлик стоял в стороне и усмехался. Два мнимых Мамлея Ластухи тоже от души веселились.

– Где он тебя сыскал? – спросил наконец Чекмай.

– На все воля Божья. В Кремле, в Успенском соборе, я там пономарь.

– Но как? Как?

– Его спрашивай.

Чекмай повернулся к Бусурману.

– Весьма просто, – сказал тот. – Я пошел за советом к знакомому попу. Он всякое повидал, мог подсказать, как вести розыск. И тут он чуть не за руку дядю Мамлея выводит.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.